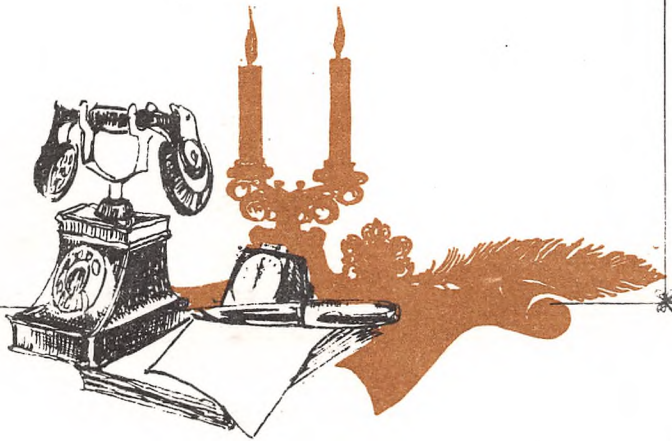


Apocryphi



И. Суратн

СЪМВЪЛЕНЕТО
ВЪ ДИНАРА
КОДА СЪБНУ



Ирина СУРАТ

**Пушкинист
Владислав ХОДАСЕВИЧ**

Москва 1994

**Ирина Захаровна СУРАТ. Пушкинист Владислав Ходасевич. М., 1994.
Издательство „Лабиринт”**

ISBN 5 – 87604 – 017 – 7

**Книга издана при поддержке Международного Фонда
„Культурная инициатива”**

Обложка И. Смирновой

- © И. Сурат, текст, 1994 г.
- © И. Смирнова, оформление, 1994 г.

1.

Вряд ли можно назвать хоть одного большого русского поэта, который не был бы так или иначе связан с Пушкиным. И все же когда речь идет о Владиславе Ходасевиче, перед нами случай особых, глубинных, почти мистических отношений, определяемых лаконичной набоковской формулой: “Пушкин входил в его кровь”. (Это сказано о герое “Дара” — романа, в образном мире которого Ходасевич активно присутствует.) Владимир Вейдле, друг и исследователь Ходасевича, в давней работе о его поэзии, не потерявшей и сегодня своего значения, писал об этом: “Как Ходасевич связан с Пушкиным, так он не связан ни с каким другим русским поэтом, и так с Пушкиным не связан никакой другой русский поэт”¹. В чем же суть такой тесной связи? О чем вел Ходасевич с Пушкиным тот нескончаемый внутренний диалог, следы которого найдет внимательный читатель в его стихах, статьях и письмах? Что, наконец, побудило поэта стать профессиональным пушкинистом и всю жизнь заниматься кропотливым исследованием пушкинского творчества и биографии?

Повторяя слова В.Набокова о том, что Ходасевич — “литературный потомок Пушкина по тютчевской линии”², мы разумеем прежде всего очевидное воздействие пушкинского канона на его поэтику, главным образом на язык и структуру стиха. “Поэт всматривается в поэта так пристально, так неотступно, что целые сгустки чужих образов, поворотов стиха, оборотов речи целиком втягиваются из одной поэзии в другую, невозможную, непредставимую без нее <...> Именно

Пушкин научил Ходасевича его тону, языку, стиху <...> Пушкинские у него и неизменная отнесенность к предмету слов и образов, и неколебимая точность смысла, и твердый скелет стиха”, — писал В.Вейдле³.

Все это так, но стоит прислушаться и к рассуждениям самого Ходасевича о судьбе столь дорогого для него пушкинского наследства: “Если мы не захотим закрывать глаза и затыкать уши, то нам придется признать, что художественный канон Пушкина, как бы мы его ни ценили, может оказаться кодексом форм прекрасных, но отживающих (частично или полностью, навсегда или временно, до своей «реставрации») <...> Нельзя и не надо превращать пушкинский канон в прокрустово ложе” (“Окно на Невский. I. Пушкин”, 1922)⁴. Действительно, может ли поэт нового времени наследовать органично пушкинский канон через головы нескольких поэтических поколений, а главное — через тот страшный исторический разлом, который, отделив век девятнадцатый от двадцатого, изменил весь духовный состав человека?! Ходасевич был поэтом остросовременным по мироощущению, и любимая им пушкинская стиховая традиция вступила с этим мироощущением в трагическое, непреодолимое противоречие. Первым, еще при жизни Ходасевича, это категорично сформулировал Георгий Адамович, постоянный его оппонент в эмигрантских литературных спорах: “Стихи Ходасевича в плоскости «что» — далеки от Пушкина настолько, насколько вообще это для русского поэта возможно. Прежде всего: Пушкин смотрит вокруг себя, Ходасевич — всегда внутрь себя, и это решительно определяет его «гамлетовскую» природу, его боязнь мира, его обиду, его неуверенный вызов миру... Прислушайтесь к иронии, к смешку Ходасевича: трудно представить себе что-нибудь более ядовитое или подпольное”⁵. И о том же — в некрологе Ходасевичу: “Связь с Пушкиным, как бы написанная на «творческом знамени» Ходасевича, — гораздо поверхностней, чем кажется на первый взгляд: сколько ни была очевидна формальная, главным образом стилистическая зависимость Ходасевича от учителя всех русских поэтов, по существу между ним и Пушкиным не было ничего общего, — и, может быть, и влекся-то

он к нему по закону контраста, подобно Достоевскому. Особую «ядовитость» его поэзии придает соединение пушкинской оболочки с совсем иной, темной сущностью»⁶. Хоть и не очень, пожалуй, точны слова о «темной сущности», но точна сама мысль Адамовича о парадоксе родства и несходства, о напряжении пушкинского и антипушкинского начал в Ходасевиче, о его влечении к Пушкину «по закону контраста». Эта мысль обнажает сложность и глубину проблемы «Ходасевич и Пушкин», не сводимой к вопросу о классическом каноне. Однако когдаходишь в детали ходасевичевской жизни, то видишь, что дело коренится где-то еще глубже. Пушкин всегда был нужен Ходасевичу как воздух, без «непрестанного духовного общения»⁷ с Пушкиным он вряд ли мог бы существовать, пушкинизм прочно вошел в его писательский образ, человеческий облик, каждодневный обиход. Обдумывая эту тему, два литератора, хорошо знавших Ходасевича, в некрологах ему нашли одно и то же слово для характеристики его пушкиноведческих занятий. Иван Лукаш: «Поразительное стремление Ходасевича узнать о Пушкине все для меня не исследование постороннего ученого, а тайна души Ходасевича-поэта...»⁸ Юрий Мандельштам: «Была в его пушкинизме тайна не простая...»⁹ Не будем посягать на разгадку этой душевной тайны, но попробуем все же к ней приблизиться, попробуем уловить сокрытую связь между профессиональной пушкиноведческой работой Ходасевича и его поэтической судьбой.

2.

Ходасевич не принадлежал к числу поэтов, у которых жизнь течет естественным образом и так же естественно пишутся стихи. Напротив, он был человеком и поэтом постоянного волевого усилия, «напряженного внутреннего делания»¹⁰, сознательного жизнестроительства, и в этом жизнестроитель-

стве именно Пушкин сыграл формирующую роль. Характерный для ранних стихов Ходасевича стилизованный образ поэта-Орфея, заклинателя зверей и скал, к концу 1910-х гг. все настойчивее вытесняется в его поэтическом самосознании пушкинскими представлениями о поэте, его миссии и отношениях с миром.

В двух программных пушкинских стихотворениях — “Пророк” и сонет “Поэту” — Ходасевич нашел важнейшие ценностные ориентиры для собственного творческого и человеческого самоопределения. Реминисценции из сонета связаны в его стихах с темой “поэт и общество”, как, например, в “Стансах” (“Во дни громадных потрясений...”, 1919), где мотивы пушкинского сонета спрессованы в одно четверостишие:

Глупец глумленьем и плевком
Ответит на мое признание,
Но высший суд и оправданье
На дне души, во мне самом¹¹.

Но гораздо важнее, чем декларация независимости, оказывается для Ходасевича в пушкинском сонете слово “подвиг”, примененное к судьбе и делу поэта. В его раннем стихотворении “Моисей” (1909-1915) тема подвига поэта звучит еще отстраненно-риторически; позже, в 1917-1922 гг., она становится глубоко личной темой, и вся дальнейшая жизнестроительная работа Ходасевича идет под знаком такого пушкинского отношения к поэтическому призванию. В феврале 1917 г. он набрасывает в записной книжке первые строфы знаменитого стихотворения о Елене Кузиной (“Не матерью, но тульской крестьянкой...”, 1917, 1922), построенного на пушкинских образах, ассоциациях, цитатах, и провозглашает в нем сознательное ученичество у Пушкина в творческом служении, в отношении к поэзии как к жизненному подвигу:

В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык¹².

В “Моисее” “подвиг богоравный” поэта сравнивается с жизненным делом пророка, и это тоже на глубине предопределено Пушкиным — идейно и образно тема подвига поэта восходит для Ходасевича к пушкинскому “Пророку”, воспринятому им как лирическое откровение. Более того, весь пушкинский путь и самый его образ сливаются в сознании Ходасевича с героем “Пророка”, о чем свидетельствует, например, черновой набросок 1920 г.:

Нет, не хочу ни пошлой славы,
Ни жизни мелочных забот.
Твой призрак, гордый и кровавый,
На путь иной меня зовет¹³.

“Твой призрак” — это пушкинский поэт, а с ним и сам Пушкин. Два определения — “гордый и кровавый” — обозначают две составляющих путеводительного образа: “гордый” отсылает к герою пушкинского сонета “Поэту”, “кровавый” — к “Пророку”. В этом четверостишии закреплен отчетливый и решительный выбор пути, выбор тяжелой лиры, а не легкой, — выбор, сделанный Ходасевичем в духовном общении с Пушкиным. Явные и неявные реминисценции из “Пророка” объединяют ряд ключевых стихотворений сборника “Тяжелая лира” (1920-1922) общей темой осознания дара, осмысления принятого на себя трудного бремени (“Психея! Бедная моя!”, 1921; “Баллада”, 1921; “Стансы”, 1922)¹⁴. “Дар тайнослышанья тяжелый” оказывается порой просто “невыносимым” (“Психея! Бедная моя!”)¹⁵, он требует от поэта безоговорочной жертвы, полного внутреннего преображения:

Пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплачешь земные очи,
Не станешь духом.

(“Ласточки”, 1921)¹⁶

Из “Пророка” идет эта тема трагического преображения, мучительного и неизбежного расставания.

ния со своим тварным естеством — во имя высшего служения. Ключевой в лирике Ходасевича 1917-1919 гг. евангельский по происхождению образ прорастающего зерна — метафора *душевного* созревания и развития — сменяется в 1920-1922 гг. императивом *духовного* подвига как пути единственно возможного для поэта. Так под знаком пушкинского “Пророка” шел у Ходасевича процесс самопознания и самоустраения, и это главное в том влиянии, какое оказал на него Пушкин, а уж во вторую очередь можно говорить о пушкинском каноне, о той “классической розе”, которую Ходасевич “привил-таки к советскому дичку” (“Петербург”, 1925)¹⁷.

Все это он сам четко сформулировал в чеканных тезисах написанной в 1922 г. статьи “Окно на Невский. I. Пушкин” — манифеста группы “Лирический круг”. Определяя свою культурную позицию через отношение к Пушкину, Ходасевич говорит, что дело не в любви к нему, которая у каждого своя, и не в пристрастии к пушкинскому эстетическому канону, а “в необходимости, в неизбежности” Пушкина для русского писателя и всей русской литературы: “В тот день, когда Пушкин написал «Пророка», он решил всю грядущую судьбу русской литературы, указал ей «высокий жребий» ее: предопределил ее «бег державный». В тот миг, когда серафим рассек мечом грудь пророка, поэзия русская навсегда перестала быть всего лишь художественным творчеством. Она сделалась высшим духовным подвигом, единственным делом всей жизни. Поэт принял высшее посвящение и возложил на себя величайшую ответственность. Подчиняя лиру свою этому высшему призванию, отдавая серафиму свой «грешный» язык, «и празднословный и лукавый», Пушкин и себя, и всю русскую литературу подчинил голосу внутренней правды, поставил художника лицом к лицу с совестью, — недаром он так любил это слово. Пушкин первый в творчестве своем судил себя страшным судом и завещал русскому писателю роковую связь человека с художником, личной участи с судьбой творчества. Эту связь закрепил он своею кровью. Это и есть завет Пушкина. Этим и живет и дышит литература русская, литература

Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Толстого. Она стоит на крови и пророчестве". И дальше — о том, что современный художник должен "разделить это бремя"¹⁸.

Говоря здесь не просто о творческом подвиге, но именно о подвиге духовном, Ходасевич, в отличие от наших современников, не путается в значениях этого слова: вслед Владимиру Соловьеву и его вдохновенному толкованию "Пророка" ("Значение поэзии в стихотворениях Пушкина", 1899) он видит в этих пушкинских стихах высшее, религиозное обоснование творчества, заслуженное поэтом через принятие смертного страдания. Такое призвание не всякому художнику под силу. По мысли Ходасевича, им были удостоены еще Блок, для которого "поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни"¹⁹, Толстой, наделенный "даром духовного подвига"²⁰; такое призвание и сам он принял на себя в момент поэтического расцвета.

В свете сказанного исследовательская работа Ходасевича-пушкиниста предстает как попытка познать самый феномен истинного творчества, проникнуть в его сердцевину, вскрыв содержание пушкинского духовного подвига, который, по мнению Ходасевича, совершается не в плоскости поэзии и не в плоскости жизни, а на той глубине личности, где жизнь и поэзия еще не отделены друг от друга, где нерасторжима "роковая связь человека с художником". Потому-то пересечение этих двух плоскостей составляет главный объект пушкиноведческих исследований Ходасевича. По словам В.Вейдле, его интересует "та сложная, но и очень простая, едва определяемая и почти обыденная связь, которая возобновляется каждый день между поэтом и его поэзией. Он видит, что именно у Пушкина эта связь особенно ясна и как раз поэтому особенно таинственна"²¹. Тайна творчества кроется в этой связи. Таким образом, не только сам интерес к Пушкину имеет у Ходасевича серьезное гносеологическое обоснование, но такое обоснование имеет и его любимый исследовательский метод — тот генетический подход, который неточно называют "биографическим" или "автобиографическим".

Ходасевич-пушкинист изначально поставил свою исследовательскую задачу глубоко и серьезно, и разрешение этой задачи стало для него жизненно важным делом, тесно связанным с его собственным творческим развитием.

3.

Глобальные исторические катаклизмы, начавшиеся в 1914 г., выдвинули для русского культурного сознания вопрос о соотношении Пушкина как символа всей ценностной системы прошлого — и современной России, все больше ввергаемой в хаос. 1917-й год еще дооктябрьскими своими потрясениями обострил этот вопрос, обнаружил опасную непреемственность новой российской истории. Очевидно, под воздействием февральских событий в Петрограде Ходасевич пишет в мае-июне 1917 г. диалог “Безглавый Пушкин”, где силится объяснить для себя и как-то сгладить факт отторжения Пушкина вершителями революции. Два героя диалога — Писатель и его Друг — обсуждают сообщение о том, как революционная толпа разгромила некий памятник Пушкину во Владимире. История эта Ходасевичем явно выдуманна, но за выдумкой стоит правда болезненного для него ощущения, что современность не только не нуждается в Пушкине, но более того — враждебна по отношению к нему. Форма диалога отражает растерянность Ходасевича перед этим фактом, столкновение в душе его противоречивых движений: с одной стороны, вера в то, что “нынешняя лихорадка России на пользу”²², с другой — ужас перед “голой, дикой, звериной яростью”²³ толпы, направленной на то, что для него самого было свято. Ходасевич еще не видит здесь бесповоротной трагедии, ему хочется верить, что Пушкин все-таки нужен новой России, а ярость толпы объясняется лишь ее темнотой: “Ни один из этих солдат не поднял бы руку на красное знамя, — а Пушкину он снес голову

как ни в чем не бывало. Это потому, что он (страшно сказать) не имел представления о том, что такое Пушкин. Громившие Пушкина, конечно, впервые слышали это имя. Они не знали того, что это — памятник одному из величайших русских людей, что в самом слове «Пушкин» больше свободы, чем во всех красных знаменах. Не знали они того, что не только пушкинская, но и всякая другая истинная поэзия есть динамит, взрывающий самые основы неправого общественного строя. До боли становится горько от темноты народной! Тот, кто хочет сейчас честно служить революции и народу, должен идти и учить, учить, учить”²⁴. Просветительская иллюзия на тот момент вполне объяснима: самое страшное еще не произошло, и не так-то легко было предвидеть, по какому пути поведут Россию разбуженные в ее недрах новые исторические силы. Пушкин представился тогда Ходасевичу союзником этих сил — как чуть позже Блоку Христос представился на время союзником большевиков.

В том же 1917 г., очевидно незадолго до октябрьского переворота, Ходасевич набрасывает фрагмент так и не дописанной статьи, который впоследствии был использован им в речи “Колеблемый треножник” (1921). Говоря о смысловой многомерности Пушкина, Ходасевич ищет у него среди множества смыслов самый актуальный, соответствующий настоящему дню России: “...Раскрывая в эти великие и ужасные дни книгу излюбленного поэта, невольно в ней примечаешь тот смысл, в котором сокрыт ответ на вопрос, с такой трагической остротой ныне встающий перед всеми нами”²⁵. Неизвестно, какое из пушкинских произведений Ходасевич предполагал в этой статье анализировать, — может быть, это “Борис Годунов”, а может и что-нибудь другое. Но так или иначе в преддверии грандиозных перемен (а фрагмент обрывается словами: “Час настал”) пушкинское слово звучит еще для слуха современника, каким-то образом отзывается происходящему.

Однако очень скоро становится Ходасевичу ясно, что Пушкин несовместим с новым этапом российской истории. Это открытие отразилось в стихотворении

“2-го ноября”, написанном в мае-июне 1918 г. по отстоявшимся уже впечатлениям от октябрьских уличных боев в Москве²⁶. Демонстративно пушкинское название, пушкинский белый ямб, пушкинская реминисценция в первом же стихе — все это выдает стремление соотнести современную трагедию с пушкинским миром, осмыслить ее с пушкинской эпической мудростью, взглянуть глазами поэта-философа на растерзанный, дыханием смерти отравленный город. Пушкинский ямб здесь призван в помощь, чтобы описать и по-пушкински понять смерть как выражение “общего закона”, как залог будущего прорастания новой жизни. К концу стихотворения появляются дети и голуби — в знак надежды и упования, но в финале неожиданно для лирического героя сам Пушкин разрушает это искусственное (чтобы не сказать “фальшивое”) равновесие:

Дома

Я выпил чаю, разобрал бумаги,
Что на столе скопились за неделю,
И сел работать. Но, впервые в жизни,
Ни “Моцарт и Сальери”, ни “Цыганы”
В тот день моей не утолили жажды²⁷.

Новый опыт познания современности “впервые в жизни” разводит поэта с Пушкиным, и это освобождает его от иллюзий в оценке происшедшего. Пушкину есть место в трагическом мире, но ему нет места в мире насилия, разрушения, смерти, в хаосе небытия.

Об этом — одно из наиболее известных публицистических выступлений Ходасевича, знаменитая его речь с пушкинским названием “Колеблемый треножник”, впервые прозвучавшая на Пушкинском вечере в петроградском Доме литераторов 14 февраля 1921 г. Этот год стал для русской культуры трагически переломным, завершившим первый пореволюционный период, после которого — как казалось тогда, бесповоротно — наступил период советский. Гибель Блока и Гумилева в августе 1921 г. была воспринята многими как конец культурной эпохи. Н. Берберова позже писала: “...Тот август — рубеж. Началось «Одой на

взятие Хотина» (1739), кончилось августом 1921 г., все, что было после (еще несколько лет), было только продолжением этого августа: отъезд Белого и Ремизова за границу, отъезд Горького, массовая высылка интеллигенции летом 1922 года, начало плановых репрессий, уничтожение двух поколений — я говорю о двухсотлетнем периоде русской литературы; я не говорю, что она кончилась, — кончилась эпоха”²⁸. Но и раньше, до августовской трагедии, ощущение рубежа, прощания с культурой уже носилось в воздухе. По воспоминаниям Г.Адамовича, это время было “одушевлено <...> трагической фигурой умолкавшего, умиравшего Блока, и в этом смысле пушкинский праздник в обледенелом «Доме писателей», с блоковской речью, был его кульминационным пунктом”²⁹. На знаменательных пушкинских вечерах 11, 13, 14 и 26 февраля, собравших цвет творческой интеллигенции, произошло ее осознанное расставание и с “золотым веком” и с “серебряным” — со всей культурной эпохой. Интеллигенция и революция окончательно разошлись к этому моменту. В речах Блока и Ходасевича сконденсировались общие настроения интеллигенции, с огромной сжатой силой была высказана в них мысль о том, что послереволюционная Россия вступила в острое противоречие с культурой. Для большинства художников это означало неизбежный и трудный переход от открытой жизни в культуре к “немой борьбе”, к внутреннему противостоянию новому общественному укладу.

Ходасевич в мемуарах о Блоке описал эти пушкинские вечера: “Первый вечер состоялся 11 февраля 1921 года. Предстояли речи А.Ф.Кони, Н.А.Котляревского, Блока и моя. Кузмин должен был читать стихи. Я был болен, не успел подготовить речь к сроку и отказался выступить, но пошел на вечер”. По его воспоминанию, блоковская речь “О назначении поэта” “прозвучала <...> глубоким трагизмом, отчасти, может быть, покаянием. Автор «Двенадцати» завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие — свободу, хотя бы «тайную»”³⁰. В статье “Большевизм Блока (беглые мысли)” (1928) Ходасевич назвал эту

речь “прямым вызовом”. И дальше: “Она прозвучала в некоторых частях как прямая пощечина большевикам”³¹. Блок говорил о поэте, о его деле, о его “тайной свободе”, завещанной Пушкиным, но за этим как будто цеховым разговором услышалась прежде всего “пощечина большевикам”. Ходасевич дописывал свой “Колebleмый треножник” под впечатлением от речи Блока, он взял тот же горький и резкий тон и вывел разговор о Пушкине на историческую прямую, назвал своими именами гибельные для культуры последствия революции.

В первой части речи Ходасевич развивает мысли упомянутого наброска 1917 г. о параллельных заданиях у Пушкина, о рядах параллельных смыслов в его творениях и, соответственно, — о заложенной в этих творениях потенциальной возможности самых различных толкований. Предреволюционный фрагмент был началом статьи о том, что среди множества пушкинских смыслов находится и такой, который созвучен катаклизмам современности. Теперь, в 1921 г., тезис о многомерности пушкинского смыслового пространства получает у Ходасевича парадоксальное разрешение: при всей “многосмысленности” Пушкина, при всей способности его произведений откликаться на сколь угодно разные запросы — при всем этом современник Ходасевича, житель пореволюционной России, Пушкина уже почти не слышит. И речь идет не только о неразвитости массового читателя, но в целом о новой культурной ситуации, порождающей эту глухоту.

Мысль о том, что Пушкин постепенно отдаляется и меркнет в восприятии новых поколений, не была абсолютно новой для символистской культуры, из которой вышел Ходасевич. В 1896 г. об этом писал Д.С.Мережковский в работе “Пушкин”, положившей начало религиозно-философскому осмыслению Пушкина: “Слава Пушкина становится все академичнее и глуше, все непонятнее для толпы. Кто спорит с Пушкиным, кто знает Пушкина в Европе не только по имени? У нас со школьной скамьи его твердят наизусть, и стихи его кажутся такими же холодными и ненужными для действительной русской жизни, как

хоры греческих трагедий или формулы высшей математики. <...> Все готовы почтить его мертвыми устами, мертвыми лаврами, — кто почтит его духом и сердцем?"³² Мережковский говорит не просто об отдалении, но о "смерти Пушкина в самом сердце, в самом духе русской литературы"³³ и видит в этом знак оскудения русского духа. Иначе объясняет отдаление Пушкина В.В.Розанов в "Заметке о Пушкине", напечатанной в 1899 г. в скандально известном пушкинском номере "Мира Искусства" рядом со статьями Мережковского, Н.Минского, Ф.Сологуба. Рассудив о недостатке пифийского, оргиастического духа у Пушкина, Розанов заключает: "Пушкин, по много-гранности, по *все-гранности* своей — вечный для нас и во всем наставник. Но он слишком строг. Слишком серьезен. Это — во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани суть всего менее длинные и тонкие корни, и прямо не могут следовать и ни в чем не могут помочь нашей душе, которая растет глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растет живее и жизненнее, чем опять же возможно было в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже об них, не мог бы *никак* отозваться; есть много более у нас, которым он уже не сможет дать *утешения*; он слеп, «как старец Гомер», — для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно, зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам нужнее, как ночью, в лесу — умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создает обильное им чтение, как ее же отсутствие есть главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустынную и обожание. Мы его «обожили»: так поступали и древние с людьми, «которых нет больше». «Ромул умер»; на небо вознесся «бог Квирин»"³⁴.

При общей постановке вопроса, при общем у Мережковского, Розанова и Ходасевича сравнении новой судьбы Пушкина с судьбой греческих трагиков в их современном восприятии, при общем у Розанова и Ходасевича рассуждении о многогранности Пуш-

кина, не спасающей его от забвения, — при всех этих общих моментах мысли Ходасевича лежат все же в совсем иной плоскости. Мережковский и Розанов ставят, хоть и по-разному, один важный для новой религиозной и творческой эпохи вопрос: о духовных корнях творчества, о дионисийском начале в жизни современного человека и в литературе — классической и новой. Так или иначе, их суждения о несоответствии Пушкина духу современности — это разговор внутри символистской культуры, которая на самом деле столь же пушкиноцентрична, как и классическая русская культура XIX века. У Ходасевича же речь идет совсем о другом: не о закономерной смене культурных эпох, при которой меняется и восприятие Пушкина, а об “общих сумерках культуры”³⁵, о наступлении новой, внекультурной эпохи, которую отделяет от прошлого “какая-то пустота, психологически болезненная, как раскрытая рана”³⁶. Не Пушкин отдаляется и уходит в прошлое, не в нем дело (например, в недостатке пифизма у него, как пишет Розанов), а дело в том, что Россия сошла с пути, вступила в полосу разрушения и зла и тем самым вступила в противоречие с Пушкиным³⁷.

Достаточно примеров Достоевского, Блока и Ходасевича (а можно вспомнить и И.С.Тургенева, А.В.Карташева, В.Н.Ильина, И.А.Ильина, Вяч.Иванова), чтобы определить пушкинскую речь как особый лиро-эпический жанр, предполагающий серьезность проблемы, силу и широту исторического, философского, эстетического обобщения и вместе с тем — лирическое исповедание веры. В “Колеблемом треножнике” общественная и лирическая темы слиты в нераздельное целое и воплощены с большим “внутренним напряжением”³⁸. М.Шагинян, присутствовавшая на вечере 14 февраля, записала в дневнике свои впечатления от ходасевичевской речи: “...Она лирическая и вызывает лирическое потрясение. Она вся построена на личной нежности к Пушкину и исторической субъективизации общественных настроений с точки зрения «нас» (группы немногих, лично и интимно воспринимающих Пушкина); говорю «нас», но это «мы» у Ходасевича почти что «я», эготическое общение

с Пушкиным. Именно потому, что речь покоилась на несомненном внутреннем опыте, а может, и потому, что была антиобщественна, она зажгла консервативную питерскую аудиторию”³⁹. Шагинян не зря упоминает о “личной нежности”: этот интимно-любовный словарь задан самим Ходасевичем, который говорит о “непосредственной близости”, о “задушевной нежности”, о “страстном желании еще раз ощутить его близость, потому что мы переживаем последние часы этой близости перед разлукой”⁴⁰. Эта сильная лирическая тема сочетается с убийственно точным историко-социальным анализом, и именно такое сочетание, т.е. “субъективизация общественных настроений”, делает речь Ходасевича правдивым свидетельством переломного времени. Сила ее звучания определилась еще и риторическим парадоксом: памятная речь предполагает апофеоз героя, Ходасевич же не только констатирует временное охлаждение к Пушкину, но и предрекает фатальное развитие этого процесса: “Может случиться так, что общие сумерки культуры нашей рассеются, но их частность, то, что назвал я затмением Пушкина, затянется дольше — и не пройдет бесследно. Исторический разрыв с предыдущей, пушкинской эпохой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории. Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда...”⁴¹

Помимо интимного внутреннего опыта, который почувствовала в этой речи М.Шагинян, еще и эмпирический личный опыт лежит в основе выводов Ходасевича. Отнюдь не понаслышке создает он портрет нового поколения, оглушенного “грохотом последних шести лет”: “Многие из них безусыми юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распоролы немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей — и вот вчера возвратились, разнося свою психическую заразу. Не они в этом виноваты, — но все же до понимания Пушкина им надо еще долго расти. Между тем необходимость учиться и развиваться духовно ими сознается недостаточно...”⁴² Это новое “в шинелях с наганами племя пушкинovedов”⁴³ было хорошо знакомо Ходасевичу по работе

работе в 1918-1919 гг. в Пролеткульте, где он читал лекции о Пушкине и вел пушкинский семинарий⁴⁴, — тогда и пришлось ему разочароваться в просветительской программе, провозглашенной в “Безглавом Пушкине” (“учить, учить, учить”). Оказалось, что дело не в недостатке образования в низших социальных слоях, а в другом составе крови нового человека, в его уже органической неспособности “слышать Пушкина, как мы его слышим”⁴⁵, дело в общей нравственной атмосфере нового общества, которому война и революция принесли “небывалое ожесточение и огрубение во всех без исключения слоях русского народа”⁴⁶.

Судьба Пушкина в новую эпоху и сама эта эпоха рисуются Ходасевичем в образе, который освящен евангельской традицией, а для русского сердца еще и “Словом о полку Игореве”, — это образ затмения солнца как символ катастрофы.

Еще современники увидели в Пушкине солнце, признав за ним центральное положение в культуре и еще многое признав, что вмещает в себя этот всем понятный образ. Даже когда говорили об угасании таланта Пушкина (“светило, в полдень погасшее”), все же бесспорным оставалось его царственное место в русском сознании. Лаконичнее других это выразил В.Ф.Одоевский, в трагический час воскликнувший: “Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин умер...” И так же явственно, как современники ощущали его животворное сияние, так же реально ощутили поэты пореволюционной эпохи, что мир без Пушкина — это царство мрака, это мир обступающей тьмы. У О.Мандельштама присутствует это ощущение в стихах 1917-1920 гг.; в богатой семантике образа черного солнца тайно звучит у него и пушкинская тема:

Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу — зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?

(“Кассандре”, 1917)⁴⁷

...И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

(“Сестры тяжесть и нежность...”, 1920)⁴⁸

Связь этих образов с Пушкиным раскрыла в своих воспоминаниях А.Ахматова: “О том, что «Вчерашнее солнце на черных носилках несут» — Пушкин, ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы)<...> «Сияло солнце Александра // Сто лет тому назад, сияло всем» (декабрь 1917 г.) — конечно, тоже Пушкин. (Так он передает мои слова.)”⁴⁹ В других мандельштамовских стихах этого времени рядом с образом померкшего солнца развивается тема сумерек культуры, “сумерек свободы” — тема “советской ночи” (“Когда в теплой ночи замирает...”, 1918; “Сумерки свободы”, 1918; “В Петербурге мы сойдемся снова...”, 1920).

Речь Ходасевича завершается тем же образом тьмы, наступающей ночи без Пушкина: “...Это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке”⁵⁰. Аналогичный образ — в финале стихотворения А.Блока “Пушкинскому Дому”, написанного в те же февральские дни 1921 г., последнего стихотворения Блока:

Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему⁵¹.

С одной стороны — Пушкин как символ “подлинной и вечной, т.е. дореволюционной России”⁵², с другой — “ночная тьма” (Блок), “надвигающийся мрак” (Ходасевич), “советская ночь” (Мандельштам). Эта общность ощущений поэтов говорит только об одном: их лирические образы отражают реальность новой культурной и духовной ситуации. Позже, в 1925 г., Ходасевич назвал ее “тьмой гробовой, российской” (ст. “Петербург”)⁵³, а вскоре выяснилось, что тьма эта — не только российская: последний его стихотворный сборник 1927 г. был назван “Европейская ночь”. Иван Лукаш в некрологе Ходасевичу подытожил всю эту ночную тему: “... Как бы легла на Ходасевича

ть Пушкина<...> Зловещая: не пушкинский день, а пушкинская ночь. <...> Вот эту ночь Пушкина, и ночь России, и европейскую ночь, я думаю, тайно носил Ходасевич в своей душе..."⁵⁴.

В поэтическом завещании Блока только в последней строфе появляется лирическое "я" поэта, уходящего "в ночную тьму"; в целом же все это стихотворение построено как высказывание от множественного первого лица, от лица тех, кто в смутные годы остался с Пушкиным:

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!⁵⁵

"Колеблемый треножник" риторически сходно построен: Ходасевич говорит о "задушевной нежности" к Пушкину, о верности Пушкину от лица "нас"; это "мы" не раскрывается, но эмфатически повторяется многожды и оттого приобретает особую значимость. Это местоимение было слышано: у М.Шагинян в приведенной дневниковой записи "мы" раскрыто как "группа немногих, лично и интимно воспринимающих Пушкина", а у Софьи Парнок оно вызвало сильный душевный отклик: "Кто это «мы», кому предстоит искать и — верю! — находить друг друга по этому заветному слову? Мы — последний цвет, распутившийся под солнцем Пушкина, последние, на ком еще играет его прощальный луч, последние хранители высокой, ныне отживающей традиции..."⁵⁶ Резкое противопоставление "мы" — "они" в "Колеблемом треножнике" отразило реальную поляризацию в обществе, определившуюся к этому времени. В наступающих "сумерках культуры" с именем Пушкина оказалось связано формирование внутренней оппозиции в художественной среде, тайного ордена, к которому принадлежали Мандельштам и Ахматова и не принадлежал, например, Маяковский. Это была их "душевная эмиграция к Пушкину", как сказал Ходасевич о Есенине⁵⁷.

Но самому ему суждена была не только душевная, но и реальная эмиграция со всеми неизбежно тяжелыми для художника последствиями. И единственной неотчуждаемой ценностью, в которой заключена была вся Россия и которую можно было взять с собой, виделся Пушкин:

России — пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.

Вам — под ярмо ль подставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске.
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке.

(“Я родился в Москве”, 1923)⁵⁸

Вспоминая о том, как они с Ходасевичем пересекали границу России, Н.Н.Берберова писала в связи с этим стихотворением: “Вокруг нас, на полу товарного вагона, лежали наши дорожные мешки. Да, там был и его Пушкин, конечно, — все восемь томов”⁵⁹. Эти “восемь томиков” — широко известное издание Пушкина под редакцией П.А.Ефремова — казалось, могли надежно обеспечить прочную и глубинную связь с оставленной родиной, защитить поэта от горечи эмиграции.

4.

Ходасевич написал о Пушкине довольно много: книгу в двух вариантах, гораздо более сотни специальных статей, очерков, этюдов, заметок, рецензий, первые главы биографии Пушкина, дважды начатой и дважды не завершенной, и еще немало — в статьях на другие, непущкинские темы. При этом он оказался несправедливо выключен из нашей пушкинистики вследствие своей эмигрантской судьбы. Большая часть его парижских, берлинских, пражских

публикаций была почти недоступна советскому исследователю, но и доступное не цитировалось. Само имя Ходасевича было одиозным, и поощрялись такого рода суждения на тему “Ходасевич и Пушкин”: “Может быть, В.Ходасевич в известной мере и оказался пророком, может быть, и теперь кое-кто пытается «аукаться» именем Пушкина, но от «неуютной истории» этого права на имя Пушкина они не получили” (В.А.Десницкий о “Колеблемом треножнике”)⁶⁰. Или другой, более поздний пример: “Уверенно считая себя лучшим из живущих на земле русских поэтов и единственным признанным хранителем заветов национальной поэзии, Ходасевич освящал свои притязания именем и авторитетом Пушкина. (Он к тому же занимался изучением жизни и творчества Пушкина и считал себя пушкинистом-исследователем.) В сущности, он одному себе присваивал высокое право именоваться учеником Пушкина” (Вл.Орлов)⁶¹. Даже в академических исследованиях имя Ходасевича почти не упоминается с конца 1920-х гг., а если и упоминается, то в полемическом контексте и почти всегда по поводу его книги “Поэтическое хозяйство Пушкина” (Л., 1924) или доотъездных статей. Многочисленные его публикации в русской зарубежной периодике, как правило, и сегодня не учитываются при разработке пушкиноведческих проблем, некоторые его архивные находки находились впоследствии как бы заново, другие до сих пор не введены в научный оборот.

Мы не будем настаивать на безусловной ценности всего написанного Ходасевичем о Пушкине: ряд его работ носит характер популяризаторский, другие перегружены мелочной полемикой, — но чтобы зерна от этих плевел отделить, нужно восстановить во всей полноте корпус забытых текстов и представить их специалистам и читателям в контексте современных знаний о Пушкине. Если с фактической стороны некоторые исследования Ходасевича постепенно устаревают, то методологические его поиски, напротив, становятся для нашей пушкинистики все актуальнее (ведь сегодняшнее ее состояние более всего похоже на методологический тупик).

В начале века оформились две основные тенденции в изучении Пушкина. Первую развивала академическая школа, сосредоточившаяся “в основном на собирании новых материалов и тщательной, документально-критической разработке частных сторон биографии и творчества поэта”⁶², без притязаний на целостное осмысление Пушкина. Ходасевич хорошо знал эту традицию, всегда почитал ее, сам стремился к доскональной точности, к строгой фактической обоснованности своих пушкиноведческих работ, отстаивал уже и в ранних статьях (а позже — еще решительнее отстаивал) необходимость и важность самых детальных фактических разысканий. В одной из рецензий 1916 г. он упрекал Вадима Шершеневича за то, что тот “смеялся над приват-доцентом, составляющим «примечания к опискам Пушкина»”⁶³.

Но и по личному складу, и по родовой принадлежности к символистской культуре Ходасевич-пушкинист не мог оставаться в рамках академической традиции. Позитивизм этой школы, провозглашенный как научный принцип еще П.И.Бартеневым, был Ходасевичу органически чужд и попросту скучен. Фактографическая работа была для него только средством для сущностного постижения Пушкина. В методологически программной статье 1932 г. “О пушкинизме” он писал: “Чтобы понять писателя, надо его прежде всего правильно прочесть. Весь пушкинизм как область положительного знания и есть не более как вспомогательная дисциплина, стремящаяся обеспечить возможность этого правильного чтения, необходимого для понимания и ему предшествующего. Самое же понимание, толкование эстетическое и философское, уже выходит за пределы того, что зовется собственно пушкинизмом. Больше того: фактически дело до сих пор складывалось так, что весьма выдающиеся пушкинисты чаще всего оказывались весьма слабы, как только из области изучения текста и биографии переходили они в область оценки и толкования. Их чисто научные заслуги этим, однако ж, нисколько не умаляются”⁶⁴.

Вторая тенденция пушкиноведения, заявившая о себе в самый канун нового века в статьях

Д.С.Мережковского, В.С.Соловьева, В.В.Розанова, а позже — Вяч.Иванова, М.О.Гершензона, занялась “толкованием эстетическим и философским”, пренебрегая часто фактической и текстологической выверенностью того материала, на котором это толкование основывалось. Этот второй подход к Пушкину “под углом Вечных Беспokoйств”⁶⁵ был по духу безусловно ближе Ходасевичу, но при этом он всегда хотел быть — и был — в пушкинистике профессионалом, исследователем точным и знающим (специальные пушкиноведческие знания составляли предмет его особой гордости в эмиграции). Отталкиваясь в разное время с разной силой от обеих очерченных нами крайностей, он пытался в своей работе соединить профессиональную фактологическую основу с установкой на смысл, на толкование, на разгадку пушкинских тайн, на целостное постижение Пушкина как феномена творческого и человеческого. В итоге сильное идейное влияние Мережковского и Гершензона оказалось уравновешено у него столь же сильным примером Б.Л.Модзалевского, которого он ценил более всех других современных ему представителей академической школы.

Теоретическое обоснование своих подходов к Пушкину Ходасевич развернул в поздних статьях середины 1920-х — 1930-х гг., а в ранних работах он интуитивно нащупывал оптимальный баланс между академической скрупулезностью и творческим, писательским началом в интерпретации⁶⁶. Этот методологический поиск, это пушкинистское самоопределение началось у него с первой же серьезной работы — статьи 1914 г. “Петербургские повести Пушкина”. Ее замысел зародился у Ходасевича в начале 1913 г. в связи с публикацией одновременно П.Е.Щеголевым и Н.О.Лернером повести Пушкина-Титова “Уединенный домик на Васильевском” — основные сопоставления и выводы этой статьи содержатся уже в его первом газетном отклике на лернеровскую публикацию⁶⁷.

Центральная мысль статьи состоит в том, что так называемые “петербургские повести Пушкина” — “Уединенный домик на Васильевском”, “Домик в Коломне”, “Медный Всадник” и “Пиковая Дама” —

объединяются общей темой вторжения темных дьявольских сил в жизнь человека. “Уединенный домик...” оказывается по Ходасевичу зерном этой темы, давшей разное развитие в трех других повестях. Сама идея объединить эти произведения (кроме “Пиковой Дамы”) как “петербургские повести” с общими “бытовыми чертами” принадлежит Н.О.Лернеру⁶⁸, Ходасевич же идеологизировал это сопоставление, наполнил концептуальным смыслом, придав ему таким образом совершенно новое звучание. Ход его анализа — от ощущения, интуиции, догадки к доказательству и утверждению. “Мы смутно чувствуем это общее — и не умеем назвать его. Мы прибегаем к рискованному способу: образами говорим об образах, но тем лишь затемняем их изначальный смысл. Мы говорим о «петербургском воздухе», о дымке, нависшей над «топкими берегами», — и в конце концов сами отлично знаем, что разрешение загадки не здесь. <...> Приходится воспользоваться старым сравнением, но мы действительно угадываем эту связь, еще не видя ее, как астрономы умеют угадывать существование звезды, еще недоступной их оптическим инструментам”, — пишет Ходасевич в начале статьи⁶⁹. Такой способ изучения, когда идея толкает к исследованию, а не вытекает из него, отдаляет работу Ходасевича от традиционной историко-литературной науки и сближает с философской и писательской пушкинистикой (которую специалисты называют, как правило, “субъективной” и “произвольной”). Именно такой метод он усматривал (хотя и не без критики) у своего любимого пушкиниста М.О.Гершензона: “Изучение фактов, мне кажется, представлялось ему более средством для проверки догадок, нежели добыванием материала для выводов. Нередко это вело его к ошибкам”⁷⁰. Но не только метод, а и сама главная идея статьи лежит в русле отчасти гершензоновского, а больше символистского Пушкина. Именно символисты (Д.Мережковский, Н.Минский, Ф.Сологуб), и с ними В.Розанов, поставили вопрос о том, насколько выразил Пушкин в своей поэзии “мрачные бездны”⁷¹ мирового хаоса, насколько он был связан с темным иррациональным началом бытия⁷². Н.О.Лернер уловил эту идейную

связь статьи Ходасевича с символистской проблематикой, он писал в рецензии на одну из публикаций статьи, что от Пушкина в интерпретации Ходасевича запахло “не горячей серой подлинной чертовщины, а всего только литературной гарью мережковщины”⁷³. Эти слова Лернера относятся к “Домику в Коломне”, анализ которого оказался самым слабым звеном идейных построений Ходасевича. “Домик в Коломне”, действительно, притянут за уши к общей демонологической схеме, о чем писалось и в непосредственных откликах на статью, и в более поздних исследованиях. Но и сама главная мистическая идея не нашла у пушкинистов поддержки, ее оспаривали впоследствии А.А.Ахматова, Т.Г.Цявловская, Л.С.Зингер, В.В.Виноградов⁷⁴. Ходасевичевские обобщения о смысле четырех пушкинских произведений и сегодня производят на нас впечатление некоторой искусственности. Нарочитая схематизация общего их содержания, оформленная автором в таблицу, разрушает живую смысловую ткань каждой отдельной “петербургской повести”, если уж пользоваться этим условным жанровым определением. И все же работа Ходасевича ценна не только отдельными наблюдениями и замечаниями, но и этой общей, пусть и несколько надуманной, идеей — она из тех идей, которые направляют наше внимание от второстепенного к главному, к нравственному и философскому центру пушкинского художественного мира. Анализ Ходасевича — это сущностный анализ, исследующий отношения пушкинских героев с собственной судьбой, с потусторонними силами. Но если критики философского склада, ставившие проблемы в той же плоскости, говорили обычно о Пушкине “вообще” или “образами говорили об образах”, то Ходасевич основывает свои рассуждения на литературоведческом фундаменте — на педантичном, детальном сопоставлении различных пушкинских текстов. И такой подход для него не просто осознан — он полемичен по отношению к методам философской эссеистики; в первых четырех публикациях статья завершалась вызывающей фразой: “Вместо непрочной связи лирических постижений и неизъяснимых «предчувствий» мы предлагаем установить между рядом произведений

Пушкина прямую и прочную, тематическую и текстуальную связь”⁷⁵. Эта установка на точный анализ позволила рецензенту сборника Ходасевича “Статьи о русской поэзии” (куда вошла статья о “петербургских повестях”) говорить о том, что он “стремится преодолеть импрессионизм и философский субъективизм школы Мережковского”⁷⁶, а очевидная связь с этой школой дала повод Б.В.Томашевскому, наоборот, упрекнуть Ходасевича в импрессионизме⁷⁷.

Статья производила впечатление методологической двойственности, а на деле это была первая и не во всем удачная попытка Ходасевича соединить филологическое изучение Пушкина с познанием его идейного мира. Способом филологического изучения выбран мотивный анализ, обнаруживающий пушкинские самоповторения и связи между текстами, а значит и некое смысловое единство этих текстов⁷⁸. Такой способ чтения ляжет позднее в основу его книги “Поэтическое хозяйство Пушкина” (1923-1924), в предисловии к которой Ходасевич датирует начало работы над пушкинскими самоповторениями 1914 годом, т.е. временем написания статьи о “петербургских повестях”. В полный вариант книги, подготовленный к печати (но не вышедший) в 1924 г., Ходасевич предполагал включить эту давнюю статью, и она выглядела бы в составе “Поэтического хозяйства...” вполне органично. Таким образом, Ходасевич уже в этой ранней работе нащупал свой индивидуальный метод, который впоследствии дал значительные и оригинальные результаты.

Среди тех пушкинистов, кому он послал свою первую пушкиноведческую статью (Н.О.Лернер, В.Я.Брюсов, П.Е.Щеголев), был и Михаил Осипович Гершензон. О его реакции Ходасевич писал в мемуаре 1925 г.: “Письмо, полученное в ответ, удивило меня простотой и задушевностью. Я не был лично знаком с Михаилом Осиповичем и, хотя высоко ценил его, — все же не представлял себе Гершензона иначе как в озарении самодовольного величия, по которому за версту познаются «солидные ученые». Я даже и вообще-то не думал, что столь важная особа снизойдет до переписки с автором единственной статьи о

Пушкине”⁷⁹. С этого эпизода начинается история их взаимно теплых отношений, их тесных человеческих и профессиональных контактов, которые позволили Ходасевичу в воспоминаниях 1932 г. назвать Гершензона — “учителем и другом”⁸⁰. Действительно, Гершензон и своими идеями, и своим на редкость обаятельным человеческим обликом оказал на личность младшего друга существенное и глубокое влияние, следы которого отложились в поэзии Ходасевича, в его исследовательской, и более всего в пушкиноведческой, работе. В 1915-1922 гг. они много общались⁸¹, Гершензон открылся Ходасевичу “во всей чистоте своего прекрасного сердца”⁸², и Ходасевич полюбил его как мало кого он любил. “Во всей Москве люблю Вас одного — душой”⁸³, “очень люблю Вас”⁸⁴, “когда думаю о России, всегда вспоминаю Вас, тотчас же. Можете принять это за объяснение в любви”⁸⁵, — эти эпистолярные признания, для сдержанного Ходасевича не очень характерные, находят подтверждение в тоне и содержании его воспоминаний о Гершензоне, может быть самых теплых во всей мемуарной книге “Некрополь”. Эта любовь стояла на глубокой внутренней близости, ощущавшейся обоими. О стихах Ходасевича Гершензон писал ему: “Не могу выразить, до чего все ваше мне близко”⁸⁶; “Ваши стихи очень хороши, и вы понимаете, как близки мне...”⁸⁷. Такая близость отчасти объяснима тем, что Ходасевич воспринял некоторые религиозно-философские и культурные идеи Гершензона столь органично, что сделал их своими личными лирическими темами. Так, главная для “Тяжелой лиры” тема души-Психеи в ее субъективном ходасевичевском развитии, а также принципиально важная для поэтической антропологии Ходасевича отчетливо разграниченная триада тела, души и духа очевидно связаны со статьей Гершензона “Дух и душа”, опубликованной в сборнике “Слово и культура” (М., 1918)⁸⁸. То же касается и отдельных образов. Скажем, идейно значимый и художественно характерный для Ходасевича образ духа, прорезывающегося, “как зуб из-под припухших десен” (“Из дневника”, 1921)⁸⁹, восходит не столько непосредственно к “Федру” Платона⁹⁰, сколько к рассуждению

на эту же платоновскую тему в знаменитой статье Гершензона “Творческое самосознание”⁹¹ (тем более что Ходасевич вспоминает Гершензона на московских улицах “с цитатой из Платона на устах”⁹²). В последнем сборнике Ходасевича “Европейская ночь” неприятие современной цивилизации может быть в какой-то степени подсказано позицией Гершензона в полемике с Вяч.Ивановым (“Переписка из двух углов”. Пб., 1921), и эта связь зафиксирована самим Гершензоном: “...Стих «Претит от истин и красот» я мог бы взять эпиграфом к своим письмам «из двух углов»”⁹³. Георгий Адамович, откликаясь на эту реплику Гершензона по поводу стихотворения “Хранилище” (1924), писал: “Гершензону должно было понравиться это стихотворение. Его нигилистическая тень вообще витает над поэзией Ходасевича”⁹⁴.

Но прежде всего, по свидетельству А.И.Ходасевич, “их объединяла любовь к Пушкину”⁹⁵. Знаменательно, что именно слова Гершензона поставил Ходасевич эпиграфом к книге “Поэтическое хозяйство Пушкина”: “В трудные дни я не знаю большей радости, как перечитывать Пушкина и делать в нем маленькие открытия (Из письма М.О.Г.)”⁹⁶. Эпиграф этот не только отражает точно характер ходасевичевской книги, но так же точно отражает он и уроки Гершензона, две составляющих его пушкиноведческого метода, с ранних работ усвоенного Ходасевичем, — раскрытие “мудрости Пушкина”, спрятанной в образах, способом “медленного чтения”. По мысли Гершензона, пушкинская “мудрость”, его “имманентная философия”⁹⁷, его “целостное видение” мира”⁹⁸, растворенное в художественной ткани произведений, и есть главный объект исследовательского анализа. “Видение поэта” иррационально, а исследователь может “вынуть его из образов”⁹⁹, сформулировать, “подобно тому, как можно начертать на бумаге план готового здания”¹⁰⁰. Таким образом, исследователь берет на себя право как бы говорить за Пушкина, и Гершензон именно такое право за собою чувствовал. Ходасевич вспоминал в “Некрополе”: “...Бывали у нас и такие, примерно, диалоги:

Я. Михаил Осипович, мне кажется, вы ошибаетесь. Это не так.

Гершензон. А я знаю, что это так!

Я. Да ведь сам Пушкин...

Гершензон. Что ж, что сам Пушкин? Может быть, я о нем знаю больше, чем он сам. Я знаю, что он хотел сказать и что хотел скрыть, — и еще то, что выговаривал, сам не понимая, как пифия¹⁰¹.

Пересказывая это, Ходасевич вроде ратует за объективность анализа, но при этом гершензоновский подход далеко ему не чужд, и статья о “петербургских повестях” понравилась Гершензону не случайно — это вполне “гершензоновская” статья. Да и теоретически Ходасевич скорее поддерживал такой подход, чем отвергал. В его статье “Юнкера” (1932) читаем: “Пушкинские идеи слишком глубоко спрятаны в форме <...> Читатель может «открыть» в произведении больше, чем автор сознательно хотел выразить. Критик и есть только внимательный читатель. Критик порою тянет за конец нитки — и вычитывает то, что, пожалуй, будет новостью для самого автора, хотя эта новость несомненно заключена в произведении”¹⁰². Не правда ли, это похоже на приведенный выше диалог? Такое понимание исследовательской задачи означает сущностный подход к литературе, и Ходасевич не только в историко-литературной работе, но и в критике такой подход всегда исповедовал. Но тут неизбежно встает мучительный вопрос — о границах интерпретации, о критериях ее объективности. История нашего литературоведения показала (особенно в 1960-1970-е гг.), что чем больше оно стремится быть объективной и точной наукой, тем дальше уходит от сути искусства как “выраженного отношения к миру и Богу”¹⁰³. А установка на раскрытие “мудрости” дает результат более точный или менее точный, но почти всегда субъективный, и ценность такого результата трудно верифицировать; да, необходимы знания, необходима исследовательская честность, но все-таки на первый план (особенно в пушкинистике) выходит интуиция, пронизательность, догадливость, предполагающая глубинную связь с предметом, способность любовного проникновения в предмет. Гершензон именно на эту

свою способность опирался, но она же и подводила его в иных случаях. Ходасевич вовсе не был апологетом Гершензона, по праву ученика и коллеги он не раз говорил об издержках гершензоновского пушкинизма. “Гершензон, конечно, открыл в Пушкине много такого, что и не снилось предшествовавшей критике, но не приходится отрицать, что в своей работе он слишком полагался на интуицию, и порой его замечательный ум, «на крыльях вымысла носимый», воистину увлекал его «за край» действительности, естественно ограниченной данными пушкинского текста. С ним случались настоящие катастрофы, вроде истории с пресловутой «скрижалю Пушкина» (“Юбилейные книги”, 1937)¹⁰⁴. Но и такие ошибки не дискредитируют подхода, а в каком-то смысле даже интересны. Острые, парадоксальные идеи, даже если они ошибочны, создают то необходимое смысловое напряжение, без которого путь к “мудрости” немислим, — таково, скажем, гершензоновское толкование “Памятника” Пушкина. Примерно так смотрел и Ходасевич на ошибки Гершензона: “Его «Мудрость Пушкина» оказалась в известной мере «мудростью Гершензона». Но — во-первых, это все-таки «мудрость», а во-вторых — то, что Гершензон угадал верно, могло быть угадано только им и только его путем. В некотором смысле ошибки Гершензона ценнее и глубже многих правд”¹⁰⁵. О том же он писал и в рецензии 1926 г. на посмертный сборник Гершензона “Статьи о Пушкине”: “...Самые заблуждения Гершензона <...> человечески и идейно ценны...”, “...В Гершензоне хороши и увлекательны даже его ошибки”¹⁰⁶.

Сам Ходасевич в пушкинистике мыслил в целом не так крупно, как Гершензон, он, как правило, ориентировался на более конкретные исследовательские задачи. Но это — в целом, а вот сохранившийся в архиве набросок 1916 г., озаглавленный “Пушкин и смерть”, ставит проблему по-гершензоновски крупно и в гершензоновском ключе: здесь предпринята попытка проследить, как звучит и меняется тема смерти на протяжении всей пушкинской лирики. Статья так и не была написана (а заготовленные наблюдения впоследствии были частично использованы

в статье “Гробница поэта” 1924 г.), но ценна уже сама постановка проблемы, связанной с самым главным, существенным в поэтическом мировидении Пушкина, ведь, как сказано в этом наброске Ходасевича, “отн<ошение> к с<мерти> — есть отношение к бессмертию души, Богу”¹⁰⁷.

По Гершензону, “видение поэта”, его “мудрость” познается прежде всего через особо пристальное, вдумчивое чтение. “Медленное чтение” — так он обозначил свой метод. “Художественная критика, — писал Гершензон, — не что иное, как искусство медленного чтения, т.е. искусство видеть сквозь пленительные формы видение художника. <...> Задача критика — не оценивать произведение, а, узрев самому, учить и других видеть видение поэта, вернее, учить всех читать медленно, так чтобы каждый мог увидеть, потому что каждый воспримет это видение по-своему”¹⁰⁸. Пушкинские стихи “гладки — соскользнешь и не заметишь, что в них. Но если читать их медленно, в них открываются удивительные мысли”¹⁰⁹. Наиболее развернуто этот метод обоснован в статье “Чтение Пушкина” (1923): “Всякую содержательную книгу надо читать медленно, особенно медленно надо читать поэтов, и всего медленнее надо из русских писателей читать Пушкина, потому что его короткие строки наиболее содержательны из всего, что написано по-русски. Эту содержательность их может разглядеть только досужий пешеход, который движется медленно и внимательно смотрит кругом. Его глубокие мысли облицованы такой обманчивой ясностью, его очаровательные детали так уравнены вгладь, меткость его так естественна и непринужденна, что при беглом чтении их и не заметишь”¹¹⁰. “Медленное чтение” — это углубление текста, обогащение его за счет различных контекстов, это чтение “заново”, в процессе которого читатель входит во все смысловые оттенки и все связи слова, входит в самый процесс творчества. Ходасевич усвоил этот гершензоновский метод и развил его; именно “медленное чтение” лежит в основе его книги “Поэтическое хозяйство Пушкина” и ряда статей, а название программной статьи “О чтении Пушкина” (1924)

неслучайно повторяет так демонстративно, в лоб, название статьи Гершензона “Чтение Пушкина”: Ходасевич здесь показывает возможности “медленного чтения”, выстраивая всю пушкинскую теорию творчества на двух его стихах (“Мы рождены для вдохновенья, // Для звуков сладких и молитв”)¹¹¹. Уже в конце жизни, отойдя от исследований пушкинского текста, Ходасевич назвал метод “медленного чтения” очень ему дорогим и близким¹¹².

Казалось бы, разве это метод — “медленное чтение”? Это просто очень внимательное чтение, к которому должен стремиться каждый исследователь текста. Но академическая наука в лице Б.В.Томашевского усмотрела в “медленном чтении”, в углублении текста нечто противоположное объективному научному анализу. По мнению Томашевского, “медленное чтение” разрушает “эстетический темп” художественной речи и порождает “паразитические ассоциации” в работах Гершензона и “фиктивные корреляции” в исследованиях Ходасевича (речь идет о “Поэтическом хозяйстве Пушкина”)¹¹³. “Гипертрофия внимания — это бедствие в научном изучении...”; “Пушкина надо читать не мудрствуя лукаво”, — к таким выводам приходит Томашевский¹¹⁴, такова логика позитивистского познания; ограничивающего себя эмпирикой факта и текста. А гершензоновское “медленное чтение” размыкает текст в глубокое пространство духовного знания и личности творца.

Ходасевич, пойдя методологически вослед Гершензону, занялся не столько “мудростью” Пушкина, сколько самой его личностью, открывающейся через “медленное чтение” произведений. Ему оказался особенно близок тезис Гершензона о так называемом “автобиографизме” пушкинских созданий — тезис, впервые Гершензоном провозглашенный в статье 1908 г. “Северная любовь Пушкина”: “Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих заключает в себе автобиографическое признание совершенно реального свойства, — надо только пристально читать эти стихи и верить Пушкину”¹¹⁵. Гершензон вовсе не имел в виду — вопреки обвинениям оппонентов, — что

Пушкин писал ради воспроизведения жизненной реальности. Он говорил не о буквальном, а о "глубоком автобиографизме", о личной внутренней наполненности пушкинских тем: "...Лучшие его вещи глубоко автобиографичны, т.е. зачаты им в страстных думах о его собственной судьбе, когда его личное недоумение, созрев, открывалось ему как загадка универсальная, когда он постигал вселенский смысл своего личного и частного дела"¹¹⁶. Из этой идеи выросла скандально известная глава книги Ходасевича "Поэтическое хозяйство Пушкина", посвященная "Скупому Рыцарю" и "Русалке", и ряд заметок, а также примыкающие к этой книге статьи "Пушкин и Ганнибал" (1924)¹¹⁷ и "Приезд Пушкина в поэзии Пушкина" (1924)¹¹⁸. Да и все ходасевичевское понимание Пушкина основывается на этой идее, на общей для них с Гершензоном убежденности в том, что пушкинское слово о мире искуплено трудным опытом интенсивной внутренней жизни, которую можно и нужно изучать, чтобы прийти к пониманию текста. (Такой генетический анализ произведений, предполагающий вхождение во внутренний мир художника, и сегодня, как в те времена, не принимается, как правило, филологической наукой, относится к разряду вольных интерпретаций.)

Гершензон, как известно, был в своем времени одним из лучших знатоков литературы и общественной мысли и тем повлиял, видимо, на интересы Ходасевича, привил ему вкус к историко-литературной работе, привлек к участию в ряде своих изданий. Не без воздействия Гершензона Ходасевич полюбил жанр биографического очерка, и всю жизнь удачно писал в этом жанре. Работа над популярной биографией Пушкина в 1920-1921 гг. также была связана с Гершензоном, который заказал Ходасевичу эту работу от имени издательства Сабашниковых. Если все это подытожить, то видно, что именно в отношениях с Гершензоном определились основные линии развития Ходасевича-литературоведа, основные принципы его пушкинистских исследований. В наиболее продуктивный период работы над Пушкиным — в 1923-1924 гг. — сильное гершензоновское влияние корректировалось у Ходасевича врожденной любовью к конкрет-

ности и точности. Импрессионистическая критика была ему чужда, о чем говорит, например, его убийственно-саркастическая рецензия 1916 г. на книгу Ю. Айхенвальда "Пушкин"¹¹⁹.

Пожалуй, наибольшую исследовательскую ценность из всего, написанного Ходасевичем о Пушкине до отъезда из России, представляет его статья "О «Гаврилиаде»"¹²⁰ — отклик на первое в России полное издание текста "Гаврилиады" под редакцией Валерия Брюсова (1918). Ценность этой статьи видится прежде всего в том, что она трактует не вспомогательные филологические проблемы, а главный вопрос — об объективном смысле поэмы, о ее воздействии на читателя независимо от пушкинского замысла. Как оценил впоследствии свою работу сам Ходасевич, "это была едва ли не первая статья, открыто посвященная содержанию поэмы"¹²¹. Если вспомнить ходасевичевское рассуждение о смыслах, сознательно заложенных автором в текст, и смыслах, "как бы самозарождающихся внутри произведения"¹²², то суть статьи о "Гаврилиаде" сводится к тому, что Пушкин вопреки нарочито кощунственному сюжету создал поэму едва ли не религиозную: "Если всмотреться в «Гаврилиаду» немного пристальнее, то сквозь оболочку кощунства увидим такое нежное сияние любви к миру, к земле, такое умиление перед жизнью и красотой, что в конце концов хочется спросить: разве не религиозна самая эта любовь?"¹²³. Ходасевич судит не о сюжетно-тематическом плане поэмы, но — в духе Гершензона — о том "целостном видении мира", которое стоит за пушкинской пародией на Благовещение, и эта картина мира кажется ему сходной с полотнами Веронезе — проникнутой духом Ренессанса, ощущением полноты жизни, восхищения окружающим миром. По мысли Ходасевича, возрожденческий гедонистический дух находит в "Гаврилиаде" столь совершенное художественное воплощение, что "все непристойности поэмы очищаются ясным пламенем красоты, в ней разлитым почти равномерно от первой строки до последней. Описывая "прелести греха", таким сияюще-чистым умел оставаться лишь Пушкин"¹²⁴. Такая интерпретация согласуется с пушкин-

ским тезисом, что “поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело”¹²⁵; в основе такой интерпретации — мысль глубокая и актуальная о том, что религиозный смысл произведения искусства лежит не в тематической плоскости, определяется не библейскими мотивами, а воплощенным отношением художника к миру.

При перепечатке в сборнике Ходасевича “Статьи о русской поэзии” (Пб., 1922) статья “О «Гаврилиаде»” датирована 1917 годом, хотя она была написана и впервые появилась в печати как рецензия на брюсовское издание 1918 г. Чем объясняется это небольшое смещение? Трудно предположить, что Ходасевич написал статью раньше — она вызвана конкретным поводом. Так же трудно предположить и другое — что Ходасевич, который вел учет своим работам, мог перепутать год написания этой важной статьи, тем более что в варианте 1929 г. он правильно указывает ее дату¹²⁶. Скорее всего, перед нами случай сознательной фальсификации даты в “Статьях о русской поэзии”, на которую автор имел свои причины. Анализируя содержание поэмы, Ходасевич сам в какой-то мере поддался ее духу (как он его понимал): он пишет о “полноте жизни”, о “жгучей радости жизни”, о “чистой красоте”, о “нежном сиянии любви к миру”, об “умилении перед жизнью и красотой”, о “восторженном созерцании мира”, о “безграничной радости и восторге, возникающих из созерцания яркого, пышного, многообильного мира”¹²⁷. Вся эта гедонистическая тема была неуместна весной 1918 г., когда появилась статья, все это было несозвучно “музыке революции”, наступившим “сумеркам свободы” (именно о 1918 годе сказано у Мандельштама: “великий сумеречный год”¹²⁸). Незадолго до появления статьи Ходасевича, 2 марта 1918 г., Иван Бунин записал в дневнике: “Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка», — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие

произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гаврилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. <...> «Съезд Советов». Речь Ленина. О, какое это животное! Читал о стоящих на дне моря трупах, — убитые, утопленные офицеры. А тут «Музыкальная табакерка»¹²⁹.

Ходасевич как будто задним числом услышал этот диссонанс, нестерпимо болезненный для Бунина, — услышал и передатировал статью. Интересный комментарий к этой неточной дате дал автор беспардонной рецензии на «Статьи о русской поэзии» в журнале пролетарской литературы «Горн». Обвинив от лица всего пролетариата автора «Колеблемого треножника» в «мелком и трусливом злопыхательстве», он писал далее: «Статья «О Гаврилиаде», наоборот, — спокойная, обстоятельная, без сетований и огорчений, объясняется это просто: она написана в 1917 г., и хотя дата месяца не помечена, — можно быть уверенным, что это было между мартом и октябрём, но отнюдь не после Октября»¹³⁰. И верно: в составе «Статей о русской поэзии» рядом с «Колеблемым треножником», где говорится о несовместимости Пушкина с эпохой насилия, «распоротых животов», статья о «Гаврилиаде» могла быть помещена только как дореволюционная.

К концу 1917 г. Ходасевич, по его собственному позднему признанию, понял, «что при большевиках литературная деятельность невозможна», вследствие чего «решил перестать печататься и писать разве лишь для себя»¹³¹, а для поддержания жизни пойти на государственную службу. С 1918 г. начался для него этот тяжелый период «советской службы и вечной занятости не тем, чем хочется и на что есть умение»¹³²; он служил в суде, в театрально-музыкальной секции Моссовета, в театральном отделе Наркомпроса, в Московском Пролеткульте, в Книжной палате Моссовета, заведовал московским отделением издательства «Всемирная литература» — все это описано в его мемуарах и автобиографии, описано с протокольной точностью бытовых и административных подробностей и сознанием полной бессмысленности и нелепости всей этой советской службы, в особенности

для поэта. Задумав переехать в Петербург и поменять образ жизни, Ходасевич писал 3 октября 1920 г. П.Е.Щеголеву: "...Как Вы думаете, сыщется ли мне в ПБурге работа порядка историко-литературного, самого кабинетного, самого кропотливого? Это как раз то, чем я давно мечтал заняться, и это единственное, что меня сейчас может "Среди мирских печалей успокоить". Если бы оказалась возможность работать в непосредственной близости к Вам — это было бы мне всего приятнее. Кое-какой навык у меня есть, самая близкая мне область — поэзия пушкинского века..."¹³³ "В непосредственной близости к Вам" — это в Пушкинском Доме, в академическом институте русской словесности. В академическую работу показалось возможным укрыться от той жизни, вписаться в которую оставалось все меньше надежд.

Очевидно, с подобной просьбой обратился Ходасевич и к Горькому, во всяком случае именно он, по воспоминаниям А.И.Ходасевич, "в конце 1920 года <...> прислал В.Ф. письмо с приглашением работать в Пушкинском Доме..."¹³⁴, следствием чего явился переезд Ходасевича с женой в Петербург 17 ноября 1920 г. А 24 ноября он уже писал Гершензону: "С 1 декабря начну работать в Пушкинском Доме, составлять описание рукописей. Модзалевский, как всегда, очень мил и доброжелателен. Обещал приставить меня к пушкинской эпохе. Для начала, кажется, буду разбирать альбомы. Официальное мое звание будет — ученый сотрудник, но это с 1 января, когда придут новые штаты. Пока я не знаю, как буду называться"¹³⁵. Проблема состояла, конечно, не в том, как называться, а в том, насколько соответствовала академическая научная работа внутренним запросам Ходасевича. Оказалось — не соответствовала. В его письме Гершензону от 24 июля 1921 г. читаем: "С Пушкинским домом не ладится у меня. Уважаю, понимаю — но мертвечиной пахнет. Думал — по уши уйду здесь в историю литературы — а вышло, что и не хочется. Кроме того — Гофман очень уж пушкинист-налетчик, да Котляревский — ужасно видный мужчина, и все для него несомненно. А Модзалевский совсем хворает. Лернер, простите, глуп.

Самый тонкий человек здесь Щеголев (по этой части) — да и в нем 7 пудов весу. Нет, не хочу. У меня большое окно, виден весь Невский вдоль, видно небо. Здесь у меня лучше, чем в Академии Наук, где заседают по-дундуковски прочно¹³⁶. Действительно, трудно представить себе на каком-либо научном заседании или за повседневной текстологической работой автора “Тяжелой лиры” — а именно весной-летом 1921 г. пишутся центральные стихи этого сборника. Неслучайно такой работе противопоставлен личный мир с “большим окном”, из которого “виден весь Невский вдоль, видно небо”: тут дело не в реальных видах из окна ходасевичевского жилища в “Доме Искусств”, “что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую”¹³⁷, а в символических образах окна и неба, столь важных в метафизическом контексте “Тяжелой лиры”, именно весенне-летних стихов 1921 г. А через несколько месяцев, как бы продолжая тему и образы письма к Гершензону, Ходасевич публикует цитированную нами первую статью задуманного цикла “Окно на Невский”, где разъясняет духовный смысл своего пушкинизма.

Не только академическая работа, но и академическая среда оказалась не по духу Ходасевичу; но если бы он мог заглянуть в будущее, то увидел бы оттуда, сколь велико значение этой профессиональной среды, которой ему так не хватало потом в эмиграции. В России кроме перечисленных выше знакомых пушкинистов, кроме любимого Гершензона был в его ближайшем окружении еще Абрам Эфрос, впоследствии автор замечательных работ о рисунках Пушкина (Ходасевич позднее разошелся с ним по политическим мотивам¹³⁸), был М.А.Цявловский, мнением которого Ходасевич, по его признанию, дорожил¹³⁹. Тут уместно еще раз отметить роль Б.Л.Модзалевского в формировании Ходасевича-пушкиниста. В отличие от некоторых других ученых академического склада, он являл для Ходасевича пример “подлинного научного творчества, столько же состоящего из кропотливейшего труда, сколько из того вдохновения, которого Пушкин требовал и от ученого, как от поэта”, — это из ходасевичевской рецензии 1927 г. на подготовленное

и откомментированное Модзалевским издание первого тома писем Пушкина¹⁴⁰. А в некрологе Модзалевскому (1928) Ходасевич вспоминает его как “прекрасного ученого и одного из самых прекрасных людей, каких приходилось встречать и любить”¹⁴¹. Однако, несмотря на такое блестящее окружение, Ходасевич не нашел себе места в научной пушкиноведческой среде — он был прежде всего поэтом, и эта главная составляющая его творческой личности определяла в тот период его самосознание, поведение и положение в литературном мире.

Но пушкинизм вошел в его образ прочно, и когда мемуаристы впоследствии пытались воссоздать этот образ, они непременно отмечали пушкинизм как неотъемлемую черту Ходасевича — так, Мариэтта Шагинян оставила выразительный рассказ о том, как он читал пушкинские стихи¹⁴², а Андрей Белый в последней части своей мемуарной трилогии, уже сводя с Ходасевичем сложные счеты, безжалостно зло нарисовал его “поющим” о любви к Пушкину¹⁴³. А.И.Ходасевич вспоминала: “Он любил Пушкина, как живого человека, и ему доставляли огромное наслаждение каждая строчка, каждое слово и малейшее переживание Пушкина. Он знал каждый день жизни его, можно было В.Ф. разбудить ночью и спросить, где Пушкин был в 1802 году 14 февраля и что он в это время писал, и В.Ф. не задумываясь отвечал”¹⁴⁴. Иначе отражены эти короткие отношения Ходасевича с Пушкиным в акварельном шарже К.В.Кандаурова (1920): ночь, московская полуподвальная комната Ходасевича с проломленной стеной и обледенелым подоконником, с которого снег потоками стекает на книги; в углу, укрывшись пальто, спит жена, на столе — свеча, за столом — Пушкин с книгой на коленях и Ходасевич в развязной позе, закинув ногу на ногу, в пальто и сапогах. Под картинкой в качестве подписи — хлестаковские слова: “ — Ну что, брат Пушкин? — Да так, брат... так как-то все...”¹⁴⁵. Так в пародийном смещении отображена сложившаяся репутация Ходасевича-пушкинианца, дана его демонстративная литературная позиция и его живая связь с Пушкиным в послереволюционной “тьме гробовой,

российской”, наперекор тяготам быта, наперекор новой эпохе — разрушительной, антикультурной.

5.

Покинув Россию в 1922 г., Ходасевич в первые послеотъездные годы регулярно и особенно напряженно работает над Пушкиным, и этой профессиональной работой как будто старается закрыть для себя зияющий разрыв двух эпох — пушкинской и советской, затянуть ту “раскрытую рану” на теле России, о которой он говорил в “Колеблемем треножнике”. Главным итогом этой работы и вообще главным делом Ходасевича-пушкиниста стала книга “Поэтическое хозяйство Пушкина”, имевшая горькую издательскую судьбу и скандальную славу, вскоре сменившуюся забвением.

Книга писалась с весны 1923 г. по лето 1924 г., писалась медленно, с большой отдачей творческой энергии, вытесняя поэзию из жизни Ходасевича (что всерьез его беспокоило). Профессиональные пушкиноведческие исследования оказались делом тяжелым, сам Ходасевич так характеризовал их: “...Эта работа в высшей степени кропотлива: иногда приходится тратить неделю, а то и месяц на соби́рание материала, а вывод укладывается всего в несколько строк”¹⁴⁶.

Читателю русского зарубежья “Поэтическое хозяйство Пушкина” известно по публикации в берлинском журнале “Беседа” (1923, кн.2, 3; 1924, кн.5; 1925, кн.6/7), российскому читателю — по отдельному ленинградскому изданию 1924 г.

Изначальная задача книги, усложнившаяся в процессе работы, определена автором в предисловии: анализ пушкинских самоповторений, или “автореминисценций”, как называет их Ходасевич. Первой его работой, построенной на рассмотрении автореминисценций, была статья “Петербургские повести Пушкина”, второй подступ к этой теме находим в бумагах Ходасевича 1917-1922 гг. — набросок предисловия к работе об автореминисценциях¹⁴⁷, а в автобиографии

1920 г. статья “О некоторых автореминисценциях Пушкина” названа среди работ “вполне или отчасти подготовленных”¹⁴⁸. Очевидно, какие-то заготовки были привезены из России, но основная работа шла уже в тяжелых условиях эмигрантского кочевья (за два года Ходасевич и Берберова сменили более десятка европейских городов), “без многих необходимейших книг”, без “даже хоть сколько-нибудь полного и компетентного издания Пушкина”, в отрыве от “пушкинистской литературы” — обо всем этом рассказал Ходасевич читателю в предисловии к книге¹⁴⁹. Но несмотря на эти “самые неблагоприятные условия”¹⁵⁰, ему удалось оставить в нашем пушкиноведении исследование совершенно оригинальное по постановке проблемы, богатое множеством интересных наблюдений, сопоставлений, догадок (спорных и бесспорных) и кроме всего очень полезное собранным и систематизированным материалом.

Говоря о “Поэтическом хозяйстве Пушкина”, следует иметь в виду, что книга, выпущенная ленинградским издательством “Мысль” в 1924 г., содержит примерно 2/3 написанного и не отражает авторской воли ни композиционно, ни текстуально. Ее преждевременный выход в свет в неполном и искаженном виде стал результатом недоразумения, недопонимания, возникшего между Ходасевичем и его доверенным лицом в России — вся эта драматическая история прослеживается по письмам Ходасевича А.И.Ходасевич, К.И.Чуковскому, М.О.Гершензону¹⁵¹. Определив это издание как “черновик части моей книги”¹⁵², Ходасевич отрекся от него публично в 6/7 номере “Беседы” за 1925 год¹⁵³. Журнальная публикация в большей степени отражает авторскую волю, однако и она представляет далеко не полный и не доработанный вариант. Но как бы то ни было, Ходасевич вошел в историю пушкинистики именно этой книгой; сегодня для нас не так существенны допущенные при издании пропуски и искажения, зато безусловно интересен ходасевичевский опыт “медленного”, “очень медленного чтения” пушкинского текста. К тому же мы имеем возможность компенсировать издательскую ошибку и

реконструировать полный авторский корпус книги, мысленно включив в ее состав те статьи, которые намеревался, но практически не сумел включить в нее Ходасевич¹⁵⁴. В 1937 г. он переиздал “Поэтическое хозяйство Пушкина” под другим названием (“О Пушкине”), значительно сократив — скорее всего, по внетворческим мотивам — одни главы и просто выбросив другие. Таким образом, книга так и не вышла в свет в том виде, как она была задумана и написана в 1923-1924 гг., но мы здесь будем говорить именно об этом несостоявшемся варианте “Поэтического хозяйства...”, наиболее полно и наиболее характерно выразившем исследовательское лицо Ходасевича.

Отталкиваясь от эссеистской пушкинистики в стремлении к пушкиноведческому профессионализму, Ходасевич, напомним, говорил в связи с Гершензоном о том, что исследовательская интуиция должна быть ограничена “данными пушкинского текста”¹⁵⁵. Этот критерий текста выдвинут на первый план в “Поэтическом хозяйстве Пушкина”, именно текст является в книге главным объектом авторского внимания, пристальный анализ текста вносит осязательную точность в разговор о трудноуловимых вещах. Сравнивая в предисловии свое исследование по методу с точными науками, Ходасевич пишет, что его результаты могут быть использованы прежде всего в изучении психологии творчества; он таким образом будто старается снять расхождение между точным и неточным литературоведением и продемонстрировать возможность объективного анализа в областях, традиционно почитавшихся “ненаучными”, — таких, как психология творчества. В итоге книга его оказалась таковой, что ревнители точности в литературоведении обрушили на Ходасевича сокрушительную критику, а вот А.Ахматова, недоумевая, “почему так ругали эту книжку”, сказала в разговоре с П.Лукницким 9 июля 1926 г.: “Во всяком случае — это точная наука, а не рассуждения вроде «Тип Татьяны как русской женщины» или Айхенвальд”¹⁵⁶.

Итак, главная задача книги определена автором как “изучение автореминисценций”: “Всем, кто хорошо

читал Пушкина, известно обилие самоповторений в его стихах и прозе. Повторяются темы, приемы, образы, мысли, сопоставления, звуковые и ритмические ряды, эпитеты, рифмы и т.д. Каждая группа таких автореминисценций выявляет какую-нибудь сторону в личности и творчестве Пушкина, освещает частность, мало известную или незамеченную вовсе. Самоповторения у художника не случайны, не могут быть случайны. Каждое вскрытое пристрастие — к теме, к приему, к образу, даже к слову — лишняя черта в образе самого художника; черта тем более достоверная, чем упорнее выказано пристрастие¹⁵⁷. Разные пушкинисты в той или иной мере обращали внимание на пушкинские самоповторения, но исследовательская проблема была таким образом поставлена впервые, и здесь сказался собственный поэтический опыт Ходасевича, его цеховое родство с Пушкиным¹⁵⁸. Некоторые литературоведческие проблемы, видимо, только художник может по-настоящему прочувствовать, и такова проблема самоповторений — недаром та же проблема волновала в пушкинистике и Ахматову (возможно, под влиянием Ходасевича): в утраченной рукописи ее книги о Пушкине содержались “заметки о пушкинском самоповторении”¹⁵⁹, следы этой работы сохранились в конспективном наброске¹⁶⁰ и в записи собеседника Ахматовой П.Лукницкого¹⁶¹. А в разговоре с Лидией Чуковской, записанном последней 8 августа 1940 г., Ахматова сказала: “...Чтобы добраться до сути, надо изучать гнезда постоянно повторяющихся образов в стихах поэта — в них и таится личность автора и дух его поэзии. Мы, прошедшие суровую школу пушкинизма, знаем, что «облаков гряда» встречается у Пушкина десятки раз”¹⁶². Ахматова имела в виду понимание ее собственной поэзии, а в подтверждение своей мысли привела ходасевичевское наблюдение о Пушкине¹⁶³. Выходит, что два таких разных поэта ставят одну проблему в пушкинистике потому, что знают по себе глубинную творческую обоснованность осознанных или неосознанных поэтических самоповторов.

Ходасевич скромно ограничил свою задачу черновой работой по сбору материала: “...Я решил

предложить вниманию читателей ряд заметок, содержащих по преимуществу наблюдения и не стремящихся к обобщениям и выводам”¹⁶⁴. И действительно, вследствие такой установки многие главы книги лишь демонстрируют связи между текстами, каталогизируют материал, представляют пушкинское “поэтическое хозяйство”, его художественный инструментарий, ассортимент поэтических средств — зачастую без комментариев. Пример — глава 11, начинающаяся словами: “У него было исключительно пристрастие к восклицанию «Пора!»”. Далее следуют списком 33 цитаты и заключение: “Лексические и интонационные пристрастия не случайны. «Языком, сердцу внятным», они порой говорят о поэте больше, чем он сам бы хотел о себе сказать. Они обнаруживают подсознательные душевные и духовные процессы, как биение пульса обнаруживает скрытые процессы физического тела”¹⁶⁵. Ходасевич не анализирует представленный материал, но, как писал по этому конкретному поводу Юрий Мандельштам (в рецензии на издание 1937 г.), “самый подбор и распределение цитат так красноречивы, что мы впрямь видим в разрезе всю душевную жизнь Пушкина — от юношеского нетерпения до предсмертного утомленного скептицизма”¹⁶⁶. И большая часть главок в первой половине книги так построена: материал как бы говорит сам за себя, а исследователь скромно отодвигается в тень, отводя себе служебную роль и предлагая свои остроумные наблюдения тем, кто работает в “разных областях пушкиноведения”¹⁶⁷, и просто читателям, которых он таким образом побуждает думать над пушкинским текстом. По мнению еще одного рецензента книги (в издании 1937 г.) замечательного филолога А.Л.Бема, “у каждого внимательного читателя, <...> по мере ознакомления с очерками автора, возникают как раз те «выводы и обобщения», от которых он сам отказывается; возникают в процессе самостоятельного освоения материала и его своеобразного освещения автором. И этот процесс сотворчества с автором доставляет истинное наслаждение”¹⁶⁸.

Порою прослеженные Ходасевичем сюжеты, если вдуматься в них, обнаруживают важнейшие узлы

пушкинского мирозерцания — таково, скажем, наблюдение (гл.31) о движении горадиева мотива “Non omnis moriar” от стихотворения “Надеждой сладостной младенчески дыша...” (1823) через “Андрея Шенье” (1825) к “Памятнику” (1836)¹⁶⁹, но даже и в таких ярких случаях Ходасевич проявляет что-то вроде исследовательского аскетизма и не пускается в рассуждения, обрывая главку пушкинской цитатой. Это придает книге какую-то недоговоренность, видимую фрагментарность, но на самом деле все эти отдельные фрагменты связаны единством метода, общего подхода к материалу, а главное — единством авторского взгляда на Пушкина.

Ходасевич читает текст по-гершензоновски “медленно”, вдумываясь в каждый стих и одновременно как бы припоминая всего Пушкина, подключая к восприятию все возможные контексты. В 1928 г., отвечая на критику М.Гофмана, он объяснил суть такого чтения: “В известном смысле все творчество Пушкина — одно творение, в котором отдельные пьесы, при всей их законченности и цельности, — как бы лишь части, а повторения подобны лейтмотивам или повторениям в симфонии. Может быть, только для восстановления этих симфонических рядов, только для хотя бы условного созерцания этой божественной цельности стоит заниматься его самоповторениями”¹⁷⁰.

И хотя это красиво сказано, все же не только ради “условного созерцания” огромная работа проделана Ходасевичем. Книга о “поэтическом хозяйстве” Пушкина — это опыт выявления пушкинских художественных приемов, а в эстетике Ходасевича понятие приема занимает одно из центральных мест. Изучение приема есть, по Ходасевичу, оптимальный путь познания и эстетического объекта, и стоящего за ним внутреннего мира художника. Это разъяснено Ходасевичем в статье “Памяти Гоголя” (1934): “Прием есть средство и способ превращения действительности, нас окружающей, в действительность литературную. Иначе — средство и способ преображения действительности. Характер приема, естественно, определяется тем углом, под которым происходит такое преображение, которое, несколько огрубляя и упрощая дело,

можно назвать преломлением. Такой угол зависит, в свою очередь, от мироощущения и мировоззрения художника. Поэтому прием, не составляя сущности мировоззрения художника, в то же время есть несомненный и достоверный показатель такого мировоззрения. Искусство осуществляется не ради приема (как думали формалисты), но через него и в нем самом. Это не умаляет ни важности приема, ни необходимости его исследовать, ибо в конечном результате исследование приема есть исследование о мировоззрении художника. Прием выражает и изобличает художника, как лицо выражает и изобличает человека.

Прием не есть цель и не есть импульс творчества. Но поскольку творчество осуществляется не иначе как через него и даже именно в нем самом, он становится уже не только формой, в которой отливается содержание, но и самим содержанием”¹⁷¹.

Ходасевич и в других статьях касался проблемы художественного приема (“О формализме и формалистах”, 1927¹⁷²; “О форме и содержании”, 1933¹⁷³; “О Сирине”, 1937¹⁷⁴), но именно здесь он дал лаконичное и четкое теоретическое обоснование того метода, который лежит в основе большей части глав “Поэтического хозяйства Пушкина”: по существу, в них демонстрируются разного рода пушкинские приемы — словесные, интонационные, собственно стиховые, объединенные одним сверхприемом — самоповторением, которое Ходасевич считал характерным для Пушкина сознательным способом закрепления связи прошлого с настоящим (“В спорах о Пушкине”, 1928)¹⁷⁵. Недаром в 24 главке “Поэтического хозяйства Пушкина” он вступил в спор с В.Б.Шкловским о значении одного из пушкинских приемов, который Шкловский расценил как формально-пародийный¹⁷⁶. Ходасевич настаивал на содержательности этого приема, и для него это был не случайный спор, а эпизод его многолетнего спора с формализмом вообще и со Шкловским как теоретиком формализма, как автором знаменитой работы “Искусство как прием”.

Здесь уместно вспомнить слова С.Л.Франка о том, что “своеобразие и прелесть поэтического языка

Пушкина есть своеобразие и прелесть его *духовного мира*"¹⁷⁷. Ходасевич близко подошел к такому пониманию. За приемом самоповторения у Пушкина он видит чаще всего что-то личное, какой-то момент внутренней жизни поэта, в пушкинских повторах для него, выражаясь уже цитированными словами А.Ахматовой, "таится личность автора". И хотя Ходасевич в первой части книги избегает, как правило, эти сокровенные моменты обсуждать, все же личность Пушкина оказывается главной, но неявной темой его работы — темой, придающей внутреннюю цельность десяткам внешне не связанных меж собой фрагментов. В чутких профессиональных откликах это отмечено; так, А.Л.Бем писал: "Один общий вывод, и вывод огромной важности, дает книга Вл.Ходасевича: вывод о целостности и единстве личности поэта, ее необычайной устойчивости при невероятном разнообразии воплощения и словесного оформления"¹⁷⁸.

По мере освоения материала замысел книги разрастался, углублялся, усложнялся новыми проблемами, и последние ее главы, не вошедшие в ленинградское издание, носят уже иной характер, нежели фрагменты первой части. В этих главах-статьях, опубликованных в 1924 г. по отдельности в периодике под названиями "Амур и Гименей" ("Молитва Иосифу")¹⁷⁹, "Кошунства Пушкина"¹⁸⁰, "Гробница поэта"¹⁸¹, "Пушкин и Ганнибал" ("Прадед и правнук", "Женитьба Пушкина")¹⁸², "Приезд Пущина в поэзии Пушкина" ("Двор-снег-колокольчик")¹⁸³, а также в самой большой из них статье "Явления Музы", вошедшей в берлинскую журнальную публикацию "Поэтического хозяйства..."¹⁸⁴, — в них больше разработана вторая составляющая ходасевичевского исследовательского метода: обнаружение связей между текстами, автореминисценций, ведет к глубинным творческим импульсам, позволяет нащупать связи другого рода — между жизнью художника и его творением. При таком генетическом подходе читаются как единый текст стихи, письма и события — как единый текст пушкинской жизни; биографические факты не просто привлекаются к анализу стихов, но дают ключ к их толкованию. Этот поиск личного

подтекста произведений Пушкина лежит в основе пресловутого “автобиографического” подхода, который Ходасевич унаследовал от Гершензона и за который его и Гершензона порицали и продолжают порицать пушкинисты академической традиции. Ходасевич и впрямь этот свой подход временами абсолютизировал и тем скомпрометировал отчасти, и все же в его дважды печатно повторенном категоричном утверждении, что “Пушкин автобиографичен насквозь” (“Поэтическое хозяйство...”, гл.4¹⁸⁵; “О чтении Пушкина”¹⁸⁶), есть несомненная для автора этой статьи большая правда и о Пушкине, и о творчестве вообще. Недаром именно поэты-пушкинисты — Ходасевич и Ахматова — наиболее последовательно шли в своих работах к пониманию текста через его личный подтекст: аргументом их исследовательской правоты снова (как и в случае с автореминисценциями у Пушкина) является их собственный художественный опыт, знание природы творчества, их убежденность в “роковой связи человека с художником”.

Сочетание и пересечение двух обозначенных выше подходов к тексту дало интересный результат в книге о “поэтическом хозяйстве” Пушкина, и особенно — в тех больших статьях, которые не вошли в ленинградское издание и остались практически неизвестными ни читателям российским, ни даже пушкинистам. Одна из таких статей — “Явления Музы”, в которой, по словам автора, устанавливается “тематическая и текстуальная связь между тридцатью четырьмя моментами пушкинского творчества”¹⁸⁷. Здесь переключки между текстами уже не просто демонстрируются читателю, но оформляются в содержательный и стройный сюжет о метаморфозах пушкинской Музы — от неожиданного мифологизированного образа Музы-старушки, генетически обусловленного в сознании Пушкина воспоминаниями о няне и детстве, до традиционно романтического образа Музы-прелестницы, впоследствии прозаически сниженного и даже в какой-то степени пародированного. Несмотря на ряд фактических неувязок, объясняемых общим уровнем тогдашней пушкинистики, эта статья ценна детальным, вдумчивым соотнесением текстов, выявлением повторов

на всех уровнях, анализом того, как переплетаются, перетекают друг в друга поэтические мотивы, образуя сквозной сюжет. Тончайшее кружево автореминисценций, едва уловимых переключек графически материализовано Ходасевичем в чертеже, к статье прилагается, — так воплотил он свое стремление к доказательности, точности в исследовательской работе. Сам же пушкинский сюжет о няне-Музе, несмотря на некоторую сухость изложения¹⁸⁸, наполнен для Ходасевича личным смыслом и связан с собственной судьбой, с образом выкормившей его няни Елены Кузиной — в стихотворении “Не матерью, но тульской крестьянкой...” (1917, 1922)¹⁸⁹ мифологизированный образ няни-кормилицы, с “молоком которой” он “высосал мучительную связь с Россией и само свое бытие в русском языке и в русской поэзии”¹⁹⁰, соотнесен с соответствующим пушкинским образом через отсылки к пушкинским стихам “Сон” (1816), “Наперсница волшебной старины...” (1822) и к черновому отрывку второй главы “Евгения Онегина”, которые анализируются в статье “Явления Музы”. Это не единственный случай, когда пушкиноведение Ходасевича оказывается “автобиографическим” не только по методу исследования, не только по отношению к Пушкину, но и по отношению к собственной жизни — такова же главка 39 “Поэтического хозяйства...”, получившая впоследствии название “Вдохновение и рукопись”¹⁹¹, или статья 1928 г. о Пушкине-картежнике (“Пушкин, известный банкومت”)¹⁹². Та глубинная связь с Пушкиным, которую Ходасевич всю жизнь реально ощущал, оформлялась им в биографические параллели, сознательно выстраиваемые (известно, скажем, что он, подобно Пушкину, составил свой “дон-жуанский список” — это зафиксировано в мемуарах Н.Берберовой¹⁹³), таким образом личный момент вносился в исследование пушкинских тем.

Анализ повторяющихся мотивов и приемов позволил Ходасевичу поднять некоторые проблемы чрезвычайной важности, лежащие в основе пушкинского видения мира. Одна из них — проблема смерти, отношения смерти к жизни и жизни к смерти в

поэзии Пушкина. Этому посвящена статья “Гробница поэта”, опубликованная в 1924 г. отдельно с подзаголовком “Глава из книги «Поэтическое хозяйство Пушкина»”. В ней Ходасевич остается строго в пределах пушкинских текстов, другого материала не привлекает, и это, пожалуй, обедняет его выводы, сковывает мысль и не дает ей развития; а мысль основная состоит в том, что в стихах разных периодов о гробнице поэта Пушкин приходит к выводу, окончательно оформленному в “Стансах” 1829 г., о “полном равнодушии смерти к жизни и жизни к смерти”¹⁹⁴. Поставленная проблема по сути своей столь серьезна, что вряд ли на примере одной повторяющейся темы “гробницы поэта” она может быть полноценно разработана, но Ходасевич и не стремится восстановить цельное “видение поэта”, как это делал Гершензон; он лишь выхватывает из массы текстов, высвечивает своей исследовательской оптикой один сквозной мотив и через него прикасается к проблеме, скорее ставит ее, чем решает, оставляя читателю и будущему исследователю широкое поле для интеллектуальной и душевной работы.

Столь же важная проблема затронута в статье “Кошунства Пушкина”, не вошедшей в ленинградское издание, но имеющей в первой журнальной публикации подзаголовок “Из книги «Поэтическое хозяйство Пушкина»”, — это остро стоящая сегодня проблема отношения Пушкина к религии. Ходасевич рассмотрел 26 пушкинских стихотворений и набросков, в которых тем или иным образом профанируются мотивы Священного Писания, а также темы, связанные с церковной практикой. Систематизация и анализ всего этого материала привели его к выводу о том, что так называемые “кошунства” Пушкина имеют не антирелигиозную, а внутрилитературную, пародийную природу: “Религия постоянно раздражала в Пушкине его пародическую жилку. Пушкинские кошунства должно рассматривать как частный случай пушкинских пародий вообще. В них куда больше литературного приема, чем философического атеизма. Пушкинские кошунства не содержат мотива борьбы с Богом или религией. Они гораздо более незлобивы, чем его

литературные или политические эпиграммы. Они остры литературно и не глубоки философически: следствие того именно, что сами по себе являются результатом чисто литературного тяготения к пародии, а не орудием «антирелигиозной пропаганды»¹⁹⁵. Вопрос о пушкинских «кощунствах» ставился и раньше в специальных работах, но Ходасевич впервые посмотрел на эту проблему как поэт — и увидел у Пушкина кощунства поэта, почувствовал их литературный характер. Ходасевич единственно правильным образом подошел в этом случае к пушкинским «кощунственным» текстам: он не стал на основе только цитат на религиозные темы делать выводы о религиозности Пушкина как человека или о религиозном смысле его поэзии — а это вещи очень разные, лежащие в разных плоскостях; он определил в каждом случае функции таких мотивов внутри текста, и почти во всех случаях функции эти оказались шуточно-пародийными. Только этим выводы Ходасевича и ограничиваются, но это — существенный момент в общем и гораздо более сложном вопросе отношения Пушкина к религии, в вопросе, который должен ставиться на самом широком смысловом пространстве, а не на основе двух десятков цитат. Показательно, что А.А.Ахматова, размышлявшая на эту тему, и С.Л.Франк, специально ею занимавшийся, примерно к тем же выводам пришли, что и Ходасевич: Ахматова говорила П.Н.Лукницкому (запись разговора от 26 октября 1925 г.), что «трудный», как она выразилась, вопрос о религиозности Пушкина не может быть решен на основе «кощунственных» стихов, которые — «большей частью или шуточного характера, или навеяны французскими настроениями XVIII века»¹⁹⁶, а Франк в статье «Религиозность Пушкина» (1933) писал, что ««кощунства» Пушкина вообще не должны итти в счет при определении его подлинного, серьезного образа мыслей и чувств в отношении религии»¹⁹⁷. Мнение Ходасевича о литературной природе пушкинских кощунств поддержано и новейшим исследованием этой темы на более широком материале русской поэзии¹⁹⁸.

К концу работы над книгой выявилась у Ходасевича особая склонность, даже пристрастие к анализу таких пушкинских тем и сюжетов, за которыми выстраивается более или менее отчетливый биографический ряд. Из этой склонности родились статьи “Приезд Пущина в поэзии Пушкина”, “Пушкин и Ганнибал”, “Амур и Гименей” — все они не вошли в ленинградское издание книги, но после газетных и журнальных публикаций вошли в книгу “О Пушкине” 1937 года. В этих статьях Ходасевич осмысляет пушкинские повторы как едва различимые вешки внутренних тем, тесно связанных с личной биографией поэта. Так, оказывается, что комплекс мотивов “двор-снег-колокольчик”, прослеженный в ряде текстов, несет память о приезде Пущина к опальному Пушкину в декабре 1825 г.¹⁹⁹, и хотя детали ходасевичевского анализа требуют сегодня коррекции в связи с уточнением датировок стихов, самая мысль его находит более прочное основание в современных исследованиях темы “Пушкин и декабризм”²⁰⁰.

В статье “Пушкин и Ганнибал” через переклички между письмами Пушкина и “Арапом Петра Великого” выявляется автобиографическая подоснова некоторых мотивов этого незавершенного романа²⁰¹; местами сопоставления Ходасевича кажутся необязательными, но местами они более чем убедительны, и были бы еще убедительнее, если бы не так жестко привязывались к конкретной жизненной ситуации. Так или иначе, наблюдения Ходасевича подсказывают в целом верную мысль о том, что в этом историческом романе важна глубоко личная нота, связанная с центральным образом, который наделен не только чертами реального Ганнибала, но и собственными пушкинскими чертами. Эта общая мысль может получать разное конкретное развитие, так, Т.Г.Цявловская гораздо позже соотносила личные мотивы в “Арапе Петра Великого” совсем не с той биографической ситуацией, что Ходасевич. При этом показательно, что Цявловская о работе Ходасевича ничего не знала, она писала, что “в повести этой в наше время никогда не видели автобиографических мотивов”²⁰², — это нами отмечено совершенно не в упрек исследовательнице, а в качестве

примера того, как Ходасевич выпал из истории нашей пушкинистики, и подобных примеров может быть приведено еще немало. (Чаще догадки и находки Ходасевича включаются в пушкиноведческие исследования просто без имени автора^{203.})

Если вернуться к статье “Пушкин и Ганнибал”, то она дает характерный пример “автобиографического” подхода — приходится пользоваться этим условным и не вполне точным термином, поскольку именно он фигурирует в методологических баталиях вокруг работ Ходасевича. Перерабатывая статью для републикации, он обосновал и разъяснил свои исследовательские приемы: “То, что некогда пережил он сам, Пушкин нередко заставлял переживать своих героев, лишь в условиях и формах, измененных соответственно требованиям сюжета и обстановки. Он любил эту связь жизни с творчеством и любил для самого себя закреплять ее в виде лукавых намеков, разбросанных по его писаниям. Искусно пряча все нити, ведущие от вымысла к биографической правде, он, однако же, иногда выставлял наружу их едва заметные кончики. Если найти такой кончик и потянуть за него — связь вымысла и действительности приоткроется”^{204.} Уже по этим словам можно судить, что Ходасевич, будучи глубоко правым по сути в отношении пушкинской правдивости, при этом упрощал-таки характер связей между реальными обстоятельствами биографии поэта и художественными мотивами его произведений. Именно это сочетание принципиальной правоты с очевидными перехлестами составляет особенность наиболее известной и, увы, скандально известной его работы — большой статьи о пушкинской “Русалке”, опубликованной в составе ленинградского издания “Поэтического хозяйства Пушкина” и одновременно — в Париже, в XX книжке “Современных Записок” за 1924 год.

Суть исследования Ходасевича сводится к тому, что Пушкин в этой незавершенной драме, в ее сюжете и центральных образах скрыл, спрятал, зашифровал свою любовную историю, свой “крепостной роман” в Михайловском, следы которого остались в воспоминаниях И.И.Пущина и в переписке Пушкина с Вяземским

в апреле-мае 1826 года. Сопоставив этот небогатый фактический материал с мотивами драмы, Ходасевич пришел к выводу, что муки совести за судьбу соблазненной девушки и ее ребенка побудили Пушкина взяться за переработку “Днепровской русалки” Н.Краснопольского и создать “автобиографическое” произведение, вмести в его сюжетную раму события собственной жизни. Сама по себе эта главная мысль статьи, подкрепленная у Ходасевича рядом тонких наблюдений, кажется нам интересной и верной, но она должна стать лишь отправной точкой, лишь подсказкой для серьезной интерпретации “Русалки”. Ходасевич же практически сводит содержание драмы к “автобиографизму”, к пушкинскому покаянию — и тем обедняет, уплощает замысел. Но гораздо хуже другое: по тексту “Русалки” и привлекаемых для сопоставления других пушкинских произведений он домысливает события, которые будто бы произошли в действительности с прототипами драмы, достраивает их психологию, их судьбы, пренебрегая разницей между художественной закономерностью и логикой реальности. Убедившись, и справедливо, в тесной связи произведений Пушкина с его личной жизнью, увлекшись обнаружением этой связи, Ходасевич допускает как минимум два серьезных методологических просчета, связанных с общими проблемами творчества. Во-первых, рассуждая о том, как Пушкин “вписывал «правду» в «поэзию»”, Ходасевич настойчиво повторяет, что Пушкин “маскировал” и “зашифровывал” в тексте жизненные реалии. Между тем два эти глагола, пожалуй, обозначают нечто противоположное процессу творчества, в котором происходит не скрытие, а раскрытие жизненных явлений, познание и обнажение их сути. Во-вторых, Ходасевич говорит о соответствии художественных тем и жизненных фактов, часто опуская то главное, что лежит между биографией и текстом — внутренний мир художника, в котором перегорает жизненный опыт и рождаются из него художественные образы. Именно проникновению в этот мир, в это бездонное затекстовое пространство могли бы служить те биографические зацепки, которые находит Ходасевич в тексте, но он сосредоточивается на самих таких

находках, порой убедительных и красноречивых, и дальше не идет, ограничивает этим исследование. Когда же он пытается по тексту домыслить реальные судьбы реальных героев жизненной драмы, то совершает ошибки, неизбежные при столь прямолинейном понимании так называемого пушкинского “автобиографизма”. И выходит по Ходасевичу, что беременная девушка утопилась, а чувства самого Пушкина к ней обернулись возобновившейся любовью к мертвой, и это должно было отразиться в ненаписанном окончании “Русалки”.

Эти выводы оказались беззащитны для критики. Советские пушкинисты — Г.О.Винокур, Б.В.Томашевский, В.В.Вересаев, П.Е.Щеголев — в откликах на усеченное ленинградское издание “Поэтического хозяйства Пушкина” обрушились с единодушным негодованием на книгу в целом, но более всего на статью о “Русалке” — на конкретные суждения Ходасевича, на его исследовательские методы и на самый объект анализа. Пикантность темы, разработанной в этой статье с тяжеловесной подробностью, с рядом очевидных натяжек и ошибок, способствовала дискредитации главной идеи Ходасевича-пушкиниста — его убежденности в том, что большинство произведений Пушкина имеет сокровенно-лирический подтекст. Так, Г.О.Винокур просто высмеял “автобиографический” анализ “Русалки” и “Скупого Рыцаря” у Ходасевича, противопоставив его интерес к психологии творчества настоящей науке²⁰⁵. В “подмене эстетического объекта психологическим” обвинил Ходасевича и Б.В.Томашевский, имея в виду в целом его исследовательский метод²⁰⁶.

По поводу пушкинского “автобиографизма” вообще, и в связи с “Русалкой” в частности, разгорелась в печати полемика, не утихавшая несколько лет. П.Е.Щеголеву, обнаружившему новый, неизвестный Ходасевичу фактический материал, удалось доказательно опровергнуть “факты”, построенные, вычитанные Ходасевичем из текста драмы²⁰⁷. Оказалось, что крепостная возлюбленная Пушкина — это Ольга Калашникова, дочь Михаила Калашникова, бывшего управляющим сначала в Михайловском, затем в

Болдине; Щеголев выяснил, что она вовсе не утопилась с горя, как предполагал Ходасевич, а получила от Пушкина вольную и сохраняла с ним хорошие, доверительные отношения. Таким образом как будто снимался вопрос о муках совести, обусловивших создание "Русалки", и тень разоблачения легла на самую суть ходасевичевской статьи, на его мысль о том, что Пушкин воплотил в "Русалке" свой личный нравственный опыт, приобретенный в конкретных и узнаваемых жизненных обстоятельствах. Один только Гершензон, не располагавший щеголевскими фактами, но и без них увидевший конкретные ошибки в построениях Ходасевича, тем не менее признал его догадку "правдоподобной"²⁰⁸. Решительным оппонентом Ходасевича выступил В.В.Вересаев, посвятивший специальную статью разбору гипотез Ходасевича и вообще проблеме "автобиографичности" Пушкина²⁰⁹. Сам Вересаев основывался в своей пушкиноведческой работе на принципиальном отделении Пушкина-человека от его произведений, на концепции "двух планов", которые нельзя в исследовании смешивать: плана жизненного, где Пушкин предстает ему человеком вполне ничтожным — "раздражительным, легкомысленным, циничным, до безумия ослепляемым страстью"²¹⁰, и плана эстетического, где Пушкин — безусловно гениальный поэт. Такое противопоставление "поэзии" и "правды", личности и творчества обесмысливает всякий разговор о сокровенно-лирическом подтексте пушкинских произведений, и Вересаев расценил как безосновательные все разыскания Ходасевича в этой области. Будучи, на наш взгляд, глубоко неправым в главном, Вересаев неоспоримо прав в одном: "Ни единого твердого биографического факта нельзя извлечь непосредственно из поэтических признаний Пушкина"²¹¹.

Ходасевич позже многое из этой критики принял, со многим согласился. В статье 1928 г. "В спорах о Пушкине" он и в целом свою методологическую позицию скорректировал, и в отношении "Русалки" указанные Щеголевым ошибки учел, но не отказался от главного: "Я хотел установить связь «крепостного романа» с «Русалкой» и другими произведениями

Пушкина — и все-таки установил ее, да так прочно, что сам Щеголев только и делает, что за мной следует, повторяя мои мысли, мои сопоставления”²¹². Однако поздние исследователи “Русалки” отвергли эту идею Ходасевича, и в историю пушкинистики она вошла скорее как курьез, как пример “наивного биографизма”, хотя сам Ходасевич вынужден был не раз объяснять впоследствии, что многие его неточно поняли. В рецензии 1930 г. на книгу В.Вересаева “В двух планах” он писал: “Признаюсь, пишучи некогда о глубокой автобиографичности Пушкина, я всего менее ожидал вызвать целую пушкинистскую бурю, не утихающую уже шесть лет. Мне даже казалось, что я высказываю нечто общеизвестное. Разумеется, я нигде не утверждал, будто каждое слово Пушкина автобиографично в прямом и буквальном смысле. Я лишь указывал на тот вполне очевидный факт, что пушкинское творчество насыщено воспоминаниями. Разумеется опять-таки, что я имел в виду известную художественную преломленность этих воспоминаний. Психология таких преломлений меня и интересовала, и я пытался наметить ее на нескольких примерах. Вересаев и некоторые другие заключили отсюда, будто мною провозглашен какой-то «догмат об абсолютной автобиографичности Пушкина». Таких нелепостей я не писал, и подозревать меня в столь «наивном биографизме» чрезвычайно наивно”²¹³.

Вопрос об отношении между жизнью Пушкина и его поэзией не был поднят на должную высоту в описанной нами полемике. Об этом точно высказался С.Л.Франк в статье 1933 г. “Религиозность Пушкина”: “Спор об «автобиографичности» поэзии Пушкина запутан и заведен в тупик поверхностным и примитивным представлением о смысле «автобиографичности» как у ее сторонников, так и у ее противников. Поэзия Пушкина, конечно, не есть безукоризненно точный и достаточный источник для *внешней* биографии поэта, которую доселе более всего интересовались пушкиноведы; в противном случае пришлось бы отрицать не более и не менее, как наличие поэтического творчества у Пушкина. Но она вместе с тем есть вполне автентичное свидетельство

содержания его духовной жизни..."²¹⁴. В статье 1937 г. "О задачах познания Пушкина" Франк вернулся к этому вопросу, к позиции Гершензона и Ходасевича с одной стороны и Брюсова и Вересаева — с другой, и углубил, развил высказанную прежде мысль: "При всем различии между эмпирической жизнью поэта и его поэтическим творчеством, *духовная личность* его остается все же единой, и его творения так же рождаются из глубины этой личности, как и его личная жизнь и его воззрения как человека. В основе художественного творчества лежит, правда, не личный эмпирический опыт творца, но все же его *духовный опыт*. В этом более глубоком и широком смысле автобиографизм, в частности, поэзии Пушкина не подлежит ни малейшему сомнению. Можно смело утверждать, что все основные мотивы его лирики выражают то, что было «всерьез», глубоко и искренно прочувствовано и продумано для себя самого Пушкиным, и что большинство мотивов и идей его поэм, драм и повестей стоит в непосредственной связи с личным духовным миром поэта"²¹⁵. И сам Ходасевич во второй половине 1920-1930-х гг. усложнил и более серьезно обосновал теоретически свой взгляд на эту проблему, нежели в период работы над "Поэтическим хозяйством Пушкина".

В целом книга Ходасевича могла бы сыграть более значительную роль в изучении Пушкина, если бы, во-первых, была издана в задуманном виде и, во-вторых, если бы эмигрантская судьба автора не мешала объективному ее восприятию и подключению к общему ходу пушкиноведения. В книге выявлен и проработан большой текстуальный материал по пушкинским повторам, переключкам, устойчивым поэтическим приемам, по словоупотреблению — и это, заметим, до создания словаря языка Пушкина, до фундаментальных исследований пушкинского стиля, фразеологии. В книге сделано замечательное текстологическое открытие, а это нечасто случается в пушкинистике: Ходасевич, не видя рукописи, а только по описанию ее догадался и доказал, что отрывки "Румяный критик мой, насмешник толстопузый..." и "Куда же ты? — В Москву, чтоб графских именин..."

составляют одно законченное стихотворение²¹⁶. (Это открытие было тогда же признано всеми специалистами, но до сих пор оно не связывается в печати с именем Ходасевича, а, скажем, в комментарии Т.Г.Цявловской к Большому Академическому собранию сочинений Пушкина заслуга объединения двух названных текстов приписана Б.В.Томашевскому²¹⁷.) В книге поднят ряд серьезных пушкиноведческих проблем, предложена новая интерпретация и больших пушкинских произведений, и отдельных стихотворений, но кроме этих наглядных результатов сегодня кажется не менее важным и еще один результат, для многих не бесспорный: Ходасевич в “Поэтическом хозяйстве...”, главным образом в примыкающих к книге, но не вошедших в ленинградское издание статья, выработал особый литературоведческий жанр, так же далеко отстоящий от академической науки, как и от непрофессиональной эссеистики. Это жанр писательского исследования, которое опирается на всю полноту научных знаний о предмете, но решает не узко филологические задачи, интересные и понятные только специалисту, а на материале литературы при помощи филологического аппарата поднимает проблемы общечеловеческие, то есть те именно проблемы, которыми живет сама исследуемая литература. Такой род профессиональных литературоведческих занятий не получил в нашей пушкинистике широкого развития, но может быть здесь, на этом пути, открывается возможность включения филологии в процесс целостного познания мира и человека.

6.

В статьях второй половины 1920-1930-х годов Ходасевич сформулировал и обосновал те принципы литературоведческого и в частности — пушкиноведческого исследования, которые были нащупаны им в процессе работы над “Поэтическим хозяйством Пушкина”. Большую определенность, четкость получил его

главный тезис — о нераздельности биографического и творческого в личности Пушкина и соответственно — о нераздельности изучения жизни Пушкина и исследования его поэзии.

Ходасевич вовсе не утверждает, что в этом состоит универсальный закон творчества. “Связь между жизнью и творчеством замечательного человека, в какой бы области его творчество ни проявлялось, может быть различна. В одних случаях она тесна и прочна до неразрывности, до такой степени, что в самом творчестве слишком многое остается для нас нераскрытым, если мы не знакомы с его жизненными стимулами. В других случаях эта связь сравнительно более или менее ослаблена, жизнь влияет на творчество не так сильно и непосредственно, и мы можем хорошо узнать и понять человека, не слишком вдаваясь в историю его жизни. Я говорю «не слишком» — потому что невозможно себе представить такой случай, когда бы творчество оказывалось от жизни вполне изолировано” (“Искатели”, 1938)²¹⁸. Случай не самой тесной связи между жизнью и творчеством представлен для Ходасевича, скажем, А.А.Фетом (“Ранняя любовь Фета”, 1933)²¹⁹, Пушкин же представляет феномен предельной тесноты этой связи, неотделимости одного от другого, так что содержанием жизни оказывается творчество, а творчество основывается в большой степени на личном опыте художника. Творчество — это “душа и смысл пушкинской жизни” (“Книга М.Гофмана”, 1931)²²⁰. Пушкин “первый связал неразрывно трагедию своей человеческой личности с личностью художника, поставив свою судьбу в зависимость от поэтических переживаний. Это его привело к своеобразной биографии: к первой русской биографии, в которой жизнь органически и сознательно слита с творчеством. <...> Он первый прожил жизнь как поэт, и только как поэт, и за то погиб” (“Памяти Гоголя”, 1934)²²¹. Пушкин — “один из самых «автобиографических» писателей, какие когда-либо существовали” (“Достоевский за рулеткой”, 1933)²²². “«Поэт» и «человек» суть две ипостаси единой личности. Поэзия есть проекция человеческого пути” (“О чтении Пушкина”, 1924)²²³. “Его поэзия до

конца насыщена жизнью, его жизнь в каждую минуту наполнена творчеством" ("В спорах о Пушкине", 1928)²²⁴.

Эти особенности Пушкина диктуют и подход к нему, обязывают исследователя соответственным образом изучать и творения его, и жизнь. При этом предлагается различать творение как эстетическую данность и творчество как творческий процесс. Можно изучать то или иное произведение как самодостаточный эстетический объект, но в отношении Пушкина такое изучение неизбежно ущербно, оно не выявляет всей полноты смыслов, если, конечно, исследователь ставит себе именно ту задачу, какую считал самой важной Ходасевич: постичь идею, смысл произведения ("Рассветы", 1937)²²⁵. Так вот если пушкинист из множества литературоведческих задач выбирает задачу понимания, то он уже не может ограничиться рассмотрением эстетической данности, а подключается к самому творческому процессу, в котором смыслы рождаются из хаоса и находят свое эстетическое "тело". "Совершенное поэтическое произведение именно тем совершенно, что оно содержит в себе ровно все то, что должно содержать: к нему ничего нельзя прибавить, от него ничего нельзя отнять. Таковы и суть в огромном большинстве творения Пушкина. Как эстетические данности они не требуют комментария и были бы несовершенны, если бы его требовали. Но это только о *творениях*. Другое дело — творчество. Совершенно особый, новый смысл вещи обретается всякий раз, как нам удастся проникнуть в глубину самого творческого процесса. Тут порой открываются нам как бы вторые, третьи, четвертые уходящие в глубину пласты мысли и чувства, скрытые чаще всего по причинам художественной экономии, а иногда — по причинам личного характера. Проникнуть внутрь творческого процесса, как бы дохнуть воздухом, которым дышал Пушкин, проследить ход его мысли, угадать чувство, не только открыто вложенное им в стих, но иногда и утаенное, — все это совершенно необходимо для того, чтобы понять Пушкина во всей полноте" ("О пушкинизме", 1932)²²⁶, раньше

эти мысли высказаны в статье “В спорах о Пушкине”, 1928²²⁷).

Поскольку биографическое и творческое неразделимы у Пушкина, то понимание творчества и изучение биографии оказываются двумя сторонами единого познавательного процесса. “...Нельзя написать «голую» биографию Пушкина, не связанную с историей и смыслом его творчества, — так же, как это творчество непостижимо, нерасшифровываемо вне связи с биографией” (“«Пушкин в жизни» (По поводу книги В.В.Вересаева)”, 1927)²²⁸. “Потому-то писания Пушкина и соблазнительно сопоставлять с его личной жизнью и исследовать в свете этой жизни, что их глубоко личная, чуть ли не «дневниковая» природа лишь в этом случае довольно обнаруживается и позволяет их, наконец, прочитать в подлинном смысле” (“Письма о Лермонтове”, 1935)²²⁹. Надо сказать, что эта мысль, оказавшаяся чуждой современникам Ходасевича, была естественной для современников Пушкина; так, его друг и первый биограф П.А.Плетнев писал, что без биографии Пушкина, “как без ключа, нельзя проникнуть в таинство самой поэзии”²³⁰.

По Ходасевичу, тайна творчества лежит на пересечении художественного и биографического, и если исследователь находит точки пересечения двух этих плоскостей, он близок к разгадке авторского замысла (“Достоевский за рулеткой”, 1933)²³¹. Фактографии, текстологии и формальному анализу отводится подсобная роль — они подчинены задаче истолкования произведений (“О пушкинизме”, 1932)²³². При этом критик (а этим словом Ходасевич называл и собственно критика, и историка литературы, литературоведа), выявив авторский замысел, авторское видение мира, не вправе подвергать его суду, он “не вправе оценивать поэзию, смотря по тому, совпадает ли мировоззрение поэта с его собственным” (“Скучающие поэты”, 1930²³³, о том же — в статье “Рассветы”, 1937²³⁴).

Историка литературы интересует не только текст и его смысл, но и стоящая за текстом личность автора; чтобы познать эту личность, исследователь изучает художественное творение вместе с биогра-

фическим и эпистолярным материалом, что позволяет ему заглянуть в те глубины личности, где творение зарождается (“Освобождение Толстого”, 1937)²³⁵.

Исследуя связи между искусством и жизнью, настаивая на том, что искусство “может дышать только воздухом правды” (“О новых стихах”, 1938)²³⁶, Ходасевич вовсе не пренебрегал природой эстетического. Напротив, он резко выступал против литературы “человеческого документа”, против литературы, допускающей в себя “непреобразованную действительность” (“Умирание искусства”, 1938)²³⁷, что, по его мнению, “противно самому естеству художества” (“«Круг», книга третья”, 1938)²³⁸, — эта тема составляла предмет его многолетней полемики с Г.Адамовичем. Правда искусства определяется не натуралистической правдивостью, не жизнеподобием, а подлинностью, искупленностью художественной идеи; эта подлинность есть там, где художник приносит жертву, сжигает свое переживание реальности на алтаре искусства (“Рассветы”, 1937)²³⁹. Жизнь входит в поэзию, но, конечно, не фотографически, а преломленная под углом творчества, и ради “вычисления” этого “угла” исследователь привлекает биографические факты для истолкования произведений. “Именно то, как, почему, под каким углом совершается преломление, — это и есть одно из самых волнующих наблюдений, нам доступных. Может быть, именно здесь творческая личность Пушкина выявляется всего непосредственной, вне воздействия внешних литературных влияний” (“В спорах о Пушкине”, 1928)²⁴⁰.

Но и в поздних теоретических разработках Ходасевич совершает тот же ложный логический ход, какой на практике приводил его к фактическим ошибкам в период работы над “Поэтическим хозяйством Пушкина”: он настаивает на том, что “с известными ограничениями и поправками «на преломление», стихи Пушкина почти всегда дают обильный материал для биографии” (“В спорах о Пушкине”, 1928²⁴¹, то же — в статье “Пушкин—Дон-Жуан”, 1935²⁴²). Это неверно по ряду причин. Говорить о связи жизни и поэзии можно только в тех случаях, когда находятся соответствия уже известных нам

биографических фактов и поэтических мотивов, и тогда, изучая “угол преломления”, изучая эти соответствия, мы можем уловить творческий импульс, а значит — при помощи профессионального инструментария войти в авторский замысел, раскрыть его для читателя. Но жизнь становится в поэзии уже неузнаваемой, процесс творчества необратим вспять, жизнь преобразуется и в каком-то смысле умирает в момент творчества, как умирает тело, когда душа отделяется от него. Узнавать биографию поэта по его стихам столь же бессмысленно, сколь бесспорно правильно изучать “биографию его души”²⁴³ по этим стихам, и важно не подменить одно другим. Ходасевич сам дискредитировал свой способ реконструкции жизни по поэзии, когда вычитал из текста “Русалки” то, чего в действительности не было.

И еще один момент методологии литературоведения по Ходасевичу. Чтобы писать о литературе, нужно иметь собственный художественный опыт, без которого трудно проникнуть в тайны творчества, да и вообще судить о писателе (“Пушкинский «Временник»”, 1937)²⁴⁴. Исследование литературы само есть род литературного творчества. “...Критическое исследование поэзии, сколько бы ни опиралось на «факты», — само по себе есть творчество. И только ради этого творчества есть смысл изучать поэта, так же, как читать критику стоит единственно ради личности критика” (“«Пушкин в жизни» (По поводу книги В.В.Вересаева)”, 1927)²⁴⁵. “Критика есть творчество. По природе своей оно, так сказать, вторично, ибо для него материалом служит первоначальное создание художника. Это, впрочем, отнюдь не умаляет ее достоинства, ни достоинства критика. По-новому раскрывая художественное произведение, его смысл, его внешнюю и внутреннюю структуру, критик в то же время высказывает себя, как и сам художник. <...> В сущности, только это высказывание и составляет смысл и ценность критики, а вовсе не «оценка» разбираемого произведения” (“Еще о критике”, 1928)²⁴⁶. Но это не означает, что пишущий о литературе может быть сколь угодно субъективным: критик должен оставаться в рамках фактов и текста, в противном случае его сочинение

представляет уже совершенно иной интерес. Так, цветаевское эссе “Мой Пушкин” — это, по мнению Ходасевича, не исследование Пушкина, а “этюды по детской психологии” (“«Современные Записки», книга 64-ая”, 1937)²⁴⁷.

Такова в общих чертах сформировавшаяся у Ходасевича система представлений о характере и методах историко-литературной работы, и в частности — пушкинистики. Но в полной мере реализовать эти представления на практике ему не удалось.

7.

Напомним читателю, что в одном из стихотворений Ходасевича вскоре после отъезда из России “восемь томиков” суворинского издания Пушкина были провозглашены символом той единственной неотчуждаемой ценности, которая поверх географических границ обеспечивает связь с родиной и духовную опору в эмиграции. Болезненно реагируя на “ужасные условия эмигрантской жизни” (“Там или здесь?”, 1925)²⁴⁸, в первые годы остро переживая оторванность от России²⁴⁹ Ходасевич впоследствии осмыслил эти чувства и возвел их на новый уровень — “сознательное и глубокое переживание эмиграции” было определено им как “центральное жизненное дело” (“О задачах молодой литературы”, 1935)²⁵⁰. В рамках этого жизненного дела по-особому понималась и задача писателя: “Сохранить язык и культуру — вот все, что требуется от русского писателя на чужбине” (“Очередная тема”, 1927)²⁵¹. “Большевики стремятся к изничтожению духовного строя, присущего русской литературе. Задача эмигрантской литературы — сохранить этот строй”, — так передает слова Ходасевича Н.Городецкая, публикуя взятое у него интервью²⁵². Изучение Пушкина, утверждение в литературе пушкинских начал входило для Ходасевича в эту общественную задачу поддержания подлинного духа русской литературы, а в личном его мире Пушкин в эмигрантские

годы еще более укрепился как духовный ориентир и центр эстетической ценностной системы. О ком бы ни писал Ходасевич — о Набокове, о Цветаевой, о Пастернаке, Толстом или Тютчеве, — Пушкин оказывался точкой отсчета, мерой правды, глубины, совершенства. Как выразился Георгий Адамович в некрологе Ходасевичу, он все литературные явления “оценивал как бы «сквозь Пушкина»”²⁵³. Неизменными камертоном оставался Пушкин и в вопросах чистоты и точности языка, о которых Ходасевич писал неоднократно в эмиграции (“Божье древо”, 1931²⁵⁴, “В защиту русского языка”, 1937²⁵⁵, “Является”, 1938²⁵⁶).

Как и в России, в парижской литературной среде личный образ Ходасевича прочно связывался с Пушкиным, но с разными оттенками закрепились эта связь в сознании современников. Если Г.Адамович в поздних мемуарах вспоминал о его “пушкинианстве” с долей сарказма²⁵⁷, то для Д.Мережковского в этой связи было нечто исторически провиденциальное: “Бог нам послал певца Ариона в наш обуреваемый челн”²⁵⁸. “Арион русской эмиграции” — так названо коллективное стихотворение, которое посвятили Ходасевичу его молодые друзья-поэты; оно завершалось словами: “Я Пушкину в веках ответил, // Как Вейдле некогда сказал”²⁵⁹.

Однако ответ его “Пушкину в веках” звучал глухо, звучал не для всех внятно, поскольку само содержание эпохи, особенно последних полутора десятилетий перед новой мировой войной, было слишком уж непушкинским по духу — скорее антипушкинским. История разошлась с Пушкиным дальше, чем Ходасевичу казалось в 1921 г. Сумерки культуры, о которых он говорил в “Колеблемом треножнике”, сгустились не только над Россией, но и над всей Европой. Из страны колеблемого треножника пушкинского, из “тьмы гробовой, российской” Ходасевич попал в “Европейскую ночь” — так, напомним, называется его последний поэтический сборник 1927 г. По словам Н.Берберовой, для Ходасевича трагедия эмиграции “возникла не от утери почвы («Бялик, «Иридион» не имели почвы», — любил

он говорить), она возникла от общих сумерек искусства, которые он различал в 30-х годах..."²⁶⁰. И в этих надвинувшихся сумерках "аукаться" именем Пушкина было почти уже не с кем; дисгармоничный дух новой европейской цивилизации, ее "железный скрежет"²⁶¹ отделили пушкинский классический мир в восприятии современников. Как заметил Г.П.Федотов, Лермонтов оказался по духу ближе русской эмиграции, чем Пушкин, — если не всей эмиграции, то во всяком случае парижскому окружению Ходасевича²⁶². В этом отношении показателен его спор с идеологом молодой парижской литературы Г.Адамовичем, спор довольно странный — о том, глубок Пушкин или нет в познании мира. В статье с красноречивым названием "Бесы" (1927) Ходасевич, защищая Пушкина от Адамовича, возвращается снова к теме затмения пушкинского солнца, и теперь это затмение представляется ему в образах пушкинских "Бесов", в виде бесовского наваждения, замутнившего зрение, уводящего с пути²⁶³.

Отпадение от Пушкина и в России, и в молодом поколении русского зарубежья было своего рода духовной болезнью, связанной с общими болезнями века, которые обострились во второй половине 1930-х годов, когда фашизм уже гулял по Европе, когда предощущалась многими близость небывалой катастрофы²⁶⁴. В 1938 г. Ходасевич писал, вслед за В.Вейдле, об иссякновении "религиозного кислорода" в атмосфере Европы и, как следствие, об "умирании искусства", об истощении у художников нового времени главной творческой способности — способности преобразования мира ("Умирание искусства")²⁶⁵. С этой общей духовной болезнью Ходасевич связывает напрямую затмение пушкинского солнца в эмигрантской литературной среде: "Отпадение от Пушкина (я говорю не о частностях его индивидуального стиля) приводит художника к самому катастрофическому следствию — к выпадению из искусства: в хаос, в небытие, в тартарары. Обратное: выпадение из искусства автоматически приводит к отпадению от Пушкина" ("«Круг», кн. 2-я", 1937)²⁶⁶. Это сказано о круге парижских литераторов, которые в юбилейном пушкинском 1937г.

выпустили альманах и ни разу не упомянули в нем Пушкина, что было расценено Ходасевичем как факт показательный для их творческого развития, — так с помощью Пушкина он прослушивал состояние современной литературы, а через нее и дыхание времени.

Но и сам он “вобрал в поэтические легкие дыхание века”²⁶⁷ — и задохнулся в своем времени²⁶⁸, в нездоровом разреженном воздухе предвоенной Европы. Общий “упадок религиозного отношения к миру” (“Умирание искусства”, 1938)²⁶⁹ коснулся и его самого: глубокий, необратимый духовный кризис поразил Ходасевича в середине 1920-х годов и привел его к сознательному поэтическому молчанию. В стихах “Европейской ночи” не находит развития главная тема “Тяжелой лиры” — тема личного духовного подвига, и таким образом обрывается весь процесс “внутреннего делания”, поэтически воплощенный в предшествующих сборниках Ходасевича. С высоты “двойного бытия”, достигнутой в “Тяжелой лире”, поэт низринут в городскую повседневность, взгляд его обращен уже не в глубь души и не в сферы небесные, взгляд его падает теперь на окружающий мир, “где все разит скотством и тленьем” (“Ночь”, 1927)²⁷⁰, на улицы города, населенные уродами, калеками, нищими. Отчуждение от этого мира, разлад с ним определяют общую тональность “Европейской ночи”, те же чувства составляют лирический подтекст статьи “Цитаты” (1926)²⁷¹, в которой Ходасевич развивает давнюю и столь важную для него пушкинскую тему поэта-пророка. Отталкиваясь от пушкинских стихов о поэте, он выстраивает длинный ряд трагических судеб русских писателей, вступивших в неизбежный для пророка конфликт со своим временем, своим народом. В этот ряд пророков, побиваемых камнями, включает он и себя, включает не прямо, а скрыто — иллюстрируя рассуждения отрывками из своих стихов. Во втором варианте статьи, опубликованном в 1932 г. под названием “Кровавая пища”, лирическая тема прорывается на поверхность в заключительном пассаже, по своей открытости не свойственном Ходасевичу, а потому особенно пронзительно звучащем: “И все-таки,

если русским писателям должно и суждено гибнуть, то — как бы это сказать? Естественно, что каждый из них, по священной человеческой слабости, вправе мечтать, чтобы чаша его миновала. Естественно, чтобы он, обращаясь к согражданам и современникам, уже слабым, уже безнадежным голосом еще все-таки говорил:

— Дорогие мои, я знаю, что рано или поздно вы меня прикончите. Но все-таки — может быть, вы согласны повременить? Может быть, в самой попытке вы дадите мне передышку? Мне еще хочется посмотреть на земное небо”²⁷².

Это финальное “моление о чаше” освящает трагедию русских пророков авторитетом Высшей Истины, и все же в статье акцент стоит не на высокой миссии поэта, а на непосильной тяжести пророческого бремени; и здесь мы слышим личную трагедию Ходасевича: “тяжелая лира” слишком тяжела оказалась ему. Религиозный источник поэзии Ходасевича, так сильно бивший в начале 1920-х годов, иссяк вдруг и сразу, произошло какое-то глубинное нарушение внутреннего строя, приведшее в итоге к отказу от миссии:

Все допустимо, и во всем
Злым и властительным умом
Пора, быть может, усомниться,
Чтоб омертвелою душой
В беззвучный ужас погрузиться
И лиру растоптать пятой.

“К Лиле” (1929)²⁷³

Этот символический жест воспринимается как богоборчество, если вспомнить, скажем, его “Балладу” 1921 г., где параллель с пушкинским “Пророком”²⁷⁴ обнаруживает тему божественной природы поэтического дара:

И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает²⁷⁵.

Подобным же резким, вызывающим жестом выражен отказ от избранничества и в другой “Балладе” Ходасевича — 1925 г.: “Мне лиру ангел подает” — “И ангелов наотмашь бью...”²⁷⁶.

Отвержение дара — переломный момент в пушкинском сюжете жизни Ходасевича. На рубеже 1910-х — 1920-х он сознательно ступил на путь пушкинского пророка, принял лиру как высшее посвящение — и вот, достигнув зрелости на этом пути, заболел скептицизмом, лиру отверг и ощутил себя в середине 1920-х годов уже совсем другим пророком, проклиная людей и разбивающим скрижали. Этот последний мотив намечен в статье “Цитаты”, где Ходасевич вкладывает собственные стихи в уста пушкинского пророка (“... Пушкин мог бы сказать словами другого поэта...”²⁷⁷), осмысляет, как прежде, с помощью этого образа свой поэтический путь.

Зная высшую природу вдохновения, Ходасевич понимал теперь и глубокую духовную причину своего творческого кризиса:

В последний раз зову Тебя: явись
На пиршество ночного вдохновенья.
В последний раз: восхить меня в ту высь,
Откуда открывается паденье.

(1934)²⁷⁸

Удивительно, что один из немногих духовных поэтов своего времени (именно о духовности поэзии Ходасевича писал в 1922 г. А.Белый — как о редком, отличительном ее свойстве²⁷⁹) пришел во второй половине 1920-х гг. к неприятию метафизики, к неспособности понимать ее, по мнению Д.Мережковского и З.Гиппиус²⁸⁰.

В этом перерождении, в этой трагедии сыграл, наверное, свою роль и чисто психологический фактор: очень сильно было в личности Ходасевича то начало, которое Г.Адамович определил как “ядовитое” и противопоставил началу пушкинскому²⁸¹. “Муравьиный спирт, — говорил про него Бунин, — к чему ни прикоснется, все выедаёт”²⁸². (Неслучайны “йод” и

“кислоты” в его стихах в применении к душевной жизни — “Пробочка”, 1921; “Автомобиль”, 1921.) Это непущинское начало в конечном итоге, как кажется, возобладало в нем, разъело его самого.

Иссякновение метафизического источника творчества отразилось и в пушкиноведческих работах Ходасевича второй половины 1920-х — 1930-х гг. Он по-прежнему много пишет о Пушкине в эти годы, но творческий, исследовательский элемент в его статьях заметно идет на убыль. Конечно, это связано не только с внутренними, духовными, собственно творческими факторами; характер историко-литературной работы Ходасевича в эмиграции в большой степени определялся внешними условиями этой работы — отсутствием профессиональной среды (из пушкинистов в Париже жил только М.Л.Гофман, с которым у Ходасевича не сложились отношения), отсутствием самых необходимых книг, жесткой необходимостью газетной поденщины, сомнительными читательскими запросами. Проблему читателя в эмиграции Ходасевич специально анализировал и пришел к неутешительным выводам: если серьезная художественная литература на русском языке находила отклик лишь в самом узком кругу, то исследования по истории словесности почти вовсе не имели своего читателя²⁸³. На уровень читательского спроса Ходасевич неоднократно жаловался в письмах, так, А.И.Ходасевич он писал 14 сентября 1922 г. из Германии: “Здесьняя публика русская — сволочь, не читающая ничего, или Аверченко, Тэффи и т.п. Серьезной литературой они не интересуются. Стихов не читает никто”²⁸⁴, а в письме Н.Берберовой от 26 августа 1932 г. из пансиона под Парижем рисовал саркастически образ “читающей массы”: “Сегодня одна дама (без пижамы) предложила другой (в пижаме) книжку. Та ответила: «Я еще не старуха, — чего мне книжки читать?» Одна барышня читала русскую книжку недавно — года три тому назад. Очень хорошая книжка, большевицкое сочинение, но смешное, — про какую-то дюжину стульев. Все это тебе сообщаю потому, что прикоснулся к «читающей массе» и делюсь сведениями”²⁸⁵. Увы, но и на эту публику вынужден был отчасти ориентиро-

ваться Ходасевич, когда писал газетные историко-литературные статьи, отсюда и некоторое тяготение к пикантным и сюжетно острым темам в пушкинистике — “Тайные любви Пушкина” (1925)²⁸⁶, “Пушкин и Хитрово” (1928)²⁸⁷, “Пушкин, известный банкомет” (1928)²⁸⁸, “Зизи” (1933)²⁸⁹, “Аглая Давыдова и ее дочери” (1935)²⁹⁰, “Дуэльные истории” (1937)²⁹¹, “Жена Пушкина” (1938)²⁹². Газетная работа, с одной стороны давала средства к существованию, впрочем, ничтожные, а с другой — не оставляла сил для каких бы то ни было углубленных занятий. Ходасевич был зажат в тиски, о чем рассказывал в письме редактору “Современных Записок” М.В.Вишняку от 8 декабря 1927 г.: “... Чтобы не голодать, я должен писать в газете всех больше. Газетная работа требует от меня:

1) Фельетона²⁹³ каждые две недели, — т.е. судорожной погони за темами (это труднее, чем само писание).

2) Еженедельного чтения советских журналов для составления изводящей меня хроники.

3) Бывания в редакции и «консультаций» по литературным делам (с голосом, увы, совещательным)²⁹⁴.

Писание газетных (т.е. неизбежно «общественных») статей меня изматывает душевно. Чтобы написать серьезную, журнальную статью, я должен не только выкраивать «свободное» время, но и мучительно собираться с духовными силами”²⁹⁵.

Чтобы освободить себе немного времени и передохнуть, Ходасевичу то и дело приходилось заниматься, как он выражался, “самоплагиатом”²⁹⁶, то есть перепечатывать свои давние, уже опубликованные статьи под другими названиями. Но главное, газетная специфика диктовала сиюминутные пушкиноведческие темы, побуждала писать статьи “на случай” и не допускала углубления в предмет.

Понятно, что такие условия не способствовали настоящей исследовательской работе, которая осложнялась к тому же отсутствием специальных пушкиноведческих изданий и периодики, не говоря уж о рукописях Пушкина. Последнее обстоятельство заметно влияло на качество статей: затрагивая ту или иную

биографическую тему (а именно такие темы постепенно вытесняют у Ходасевича изучение пушкинских произведений), он вынужден был во многих случаях опираться на книгу Вересаева "Пушкин в жизни", которую сам не любил и которая, конечно, не является серьезным биографическим источником.

Удивительно, как вообще при таких обстоятельствах Ходасевич поддерживал свой достаточно высокий уровень профессионала-пушкиниста и следил за всем, что происходило в этой области в России и Европе. Он был, пожалуй, лучшим знатоком Пушкина в эмиграции, и за ним утвердилась роль, которая явно ему нравилась, которой он гордился, — роль эксперта по пушкиноведческим вопросам: именно он разъяснял читателю все, что касалось новейших находок пушкинских автографов и других подобных событий ("Монах", 1929²⁹⁷; "Белградская рукопись", 1933²⁹⁸; "Тетрадь Капниста", 1934²⁹⁹; "Лондонская рукопись", 1935³⁰⁰).

Основным жанром печатных выступлений Ходасевича-пушкиниста стали рецензии и отклики, он держал в поле своего зрения издания Пушкина, выходявшие по обе стороны границы, переводы его на разные языки, работы исследователей в России и в эмиграции, выставки, спектакли по Пушкину, разного рода памятные даты, с Пушкиным так или иначе связанные. Рецензии Ходасевича интересны, они всегда остры, содержательны и выходят за рамки рецензируемых книг; зачастую Ходасевич развивает какую-то общую мысль, теоретическое положение и лишь под конец добирается до издания, давшего повод этим размышлениям (подобным образом он строит и отклики на современные ему художественные произведения). Большая часть его методологических идей именно так и была сформулирована — в качестве теоретической посылки к разбору той или иной книги.

Рецензии на давние советские исследования о Пушкине интересны сегодня тем, что в них представлен взгляд извне, взгляд человека, не ангажированного советской системой, не зараженного патологическим идеологизмом, классовым подходом к литературе и другими болезнями советской науки, а

потому сохранившего профессиональную трезвость и здравый смысл. В этом отношении показательна, например, статья “Классовое самосознание Пушкина” (1927)³⁰¹ — отклик на одноименную книгу известного советского пушкиниста Д.Д.Благого, исследователя тонкого и пронизательного, но помраченного советской идеологией. Ходасевич без труда демонстрирует несостоятельность искусственной социологической схемы, построенной Д.Д.Благим, и на месте стройной “эволюции классового самосознания” открывается картина пушкинской непоследовательности в социальных вопросах. “Пушкин делает такие скачки то в сторону, то вперед, то назад, словно нарочно старается выскочить из схемы Благого”³⁰². Отталкиваясь с силой от этой схемы, Ходасевич не заменяет её другой, но именно в беспорядочной картине ищет ответ на вопрос и приходит к мысли столь же очевидной, сколь и неожиданной: “Дело в том, что Пушкин никогда не был ни политическим деятелем, ни даже политическим мыслителем, как не был он человеком какого-нибудь общественного класса. В сущности своей не был он ни правым, ни левым, ни дворянином, ни мещанином. Сам Бог его деклассировал и вывел за границы политики еще в материнской утробе. Пушкин был и ощущал себя прежде всего и всегда — поэтом. Это и было его единственное, подлинное, вошедшее в плоть и кровь, в основе руководящее им всю жизнь «классовое» и «сословное» самоопределение”. И дальше: “За это свое поэтически-классовое дело Пушкин и боролся всю жизнь. В процессе борьбы он тактически примыкал то к одним, то к другим из борющихся политических и социальных групп. <...> Он мог по внешности, кажущимся образом изменять кому и чему угодно, ибо никогда не изменял своему делу”³⁰³. Могла быть интересной работа, в которой колебания политических позиций Пушкина были бы рассмотрены в свете этой простой мысли, в зависимости от его “классового самосознания” как поэта (во всяком случае, отношения Пушкина и с декабризмом, и с монархией таким образом проясняются), — но Ходасевич этой работы не написал: “... Обстоятельное развитие и доказательство моей точки зрения потре-

бовало бы очень большого труда, для которого мною лишь отчасти собран материал и которому в условиях эмиграции вряд ли суждено быть законченным”³⁰⁴. И все же он долго не отказывался от этого замысла, следы его находим в письме Глебу Струве от 18 августа 1933 г.: “Что бы Вы, однако, сказали, если бы я предложил Вам статью, для которой у меня подобран уже материал: о мечтах Пушкина уехать (или бежать) за границу, о том, чем именно эти мечты внешне и внутренне подсказывались; эта биографическая тема послужила бы канвой, на которой попытался бы я изобразить в основных чертах политические взгляды Пушкина в связи с его взглядами на поэзию и на назначение поэта”³⁰⁵. Замысел так и не был осуществлен, остался только в виде главной мысли, сформулированной по поводу социологической книжки Благого. Так и другие рецензии Ходасевича — часто они имеют самостоятельную историко-литературную и методологическую ценность. Будучи лишен возможности углубленно, полноценно разрабатывать свои пушкиноведческие идеи, он в газетных откликах мог хотя бы высказать их, сформулировать, дать им жизнь.

При этом Ходасевич стремился ознакомить европейского русскоязычного читателя со всеми сколько-нибудь заметными явлениями современной пушкинистики. Собранные воедино, его газетные обзоры и рецензии эмигрантского периода вкупе с доотъездными публикациями представляют, если угодно, историю нашего пушкиноведения за два с половиной десятилетия, с 1913 по 1939 год, — историю, увиденную взглядом цепким, острым, умным и пристрастным. В жестких оценках Ходасевича запечатлена и советская пушкинистика со всеми своими идеологическими гримасами, и эмигрантские работы о Пушкине, которые, как и работы самого Ходасевича, на долгие годы оказались закрыты для читателя. Через рецензии Ходасевича заполняются пустоты в общей картине русского пушкиноведения тех лет: мы узнаем, что Альфред Людвигович Бем, в 1919 г. покинувший Россию, вовсе не закончил на этом свою научную деятельность, как можно подумать по отсутствию

ссылки на него в советских исследованиях, а, кроме десятков написанных им в эмиграции книг, выпустил книгу о Пушкине³⁰⁶, в которой Ходасевич увидел развитие близкой ему самому гершензоновской традиции (“Юбилейные книги”, 1937)³⁰⁷. Узнаем, что и Модест Людвигович Гофман, уехавший в 1922 г. по заданию Пушкинского Дома в командировку за границу и там оставшийся, продолжал писать книги о Пушкине, а также подготовил при материальном содействии С.Лифаря три высококачественных издания пушкинских рукописей (см. рецензии “В спорах о Пушкине”, 1928³⁰⁸; “Книга М.Гофмана”, 1931³⁰⁹; “Путешествие в Арзрум”, 1934³¹⁰; “Египетские ночи”, 1934³¹¹; “Пушкин—Дон-Жуан”, 1935³¹²; “Письма Пушкина к Н.Н.Гончаровой”, 1936³¹³). Кроме этих профессиональных работ Ходасевич откликнулся и на любительские брошюры, статьи, речи, заметки — благодаря его откликам для нас воскрешается целый пласт русской культуры в эмиграции, для которой Пушкин стал символом утраченной России.

Память, памятьливость была отличительной чертой духовного облика Ходасевича. Он оставил много замечательных мемуаров, часть их вошла в его последнюю книгу “Некрополь”, книгу памяти умерших. Эта его черта отразилась и в публикациях, связанных с Пушкиным, — в некрологах пушкинистам, в памятных статьях: “Памяти Б.Л.Модзалевского”, 1928³¹⁴; “Памяти П.Е.Щеголева”, 1931³¹⁵; “Памяти Н.О.Лернера”, 1934³¹⁶; “Памяти П.В.Анненкова”, 1937³¹⁷; один из лучших мемуаров в “Некрополе” посвящен М.О.Гершензону³¹⁸ — как пушкинисту, в частности. У его некрологов есть характерная особенность: Ходасевич пренебрегал условностями жанра и демонстративно отказывался следовать известному правилу “De mortibus aut bene aut nihil”. Он писал “de mortibus” то именно, что думал о них, — а мыслил он всегда оценочно и жестко. Как заметил довольно двусмысленно один критик по поводу его воспоминаний о Есенине, “редко кто, как Ходасевич, умеет сохранить столь объективный тон у свежей могилы”³¹⁹. Так, некролог П.Е.Щеголеву начинается с самых резких слов о его сервилизме, сказавшемся на качестве

пушкиноведческих трудов, — а затем покойному пушкинисту щедро отдается дань почтения и благодарности. С особой теплотой написан некролог Б.Л.Модзалевскому, более деловито и прохладно — Н.О.Лернеру, а пятидесятилетию со дня смерти П.В.Анненкова посвящена большая статья, где рассказывается в подробностях о подготовке первого собрания сочинений Пушкина и его первой биографии, о неоспоримых достоинствах и существенных недостатках работы Анненкова. Вообще в истории пушкинистики Ходасевич чувствовал себя не просто свободно — как профессионал среди профессионалов, — но чувствовал он за собой и право выносить исторические оценки, что придавало его статьям особый оттенок.

Однако не всегда он судил весомо, в полемике с коллегами-пушкинистами порой “цеплялся” за мелочи, вводил споры в сторону от основных проблем. Его шумная полемика с Гофманом в 1928-1929 гг. была не очень серьезной по сути, в итоге она свелась на личности, взаимные обвинения и разоблачения. После обмена резкими статьями дело дошло аж до третейского суда, документы которого печатались в “Последних Новостях”³²⁰. Но вряд ли читателю было интересно следить за перипетиями этой не вполне корректной и довольно мелочной полемики, как, впрочем, и разбираться в тонкостях специальных пушкиноведческих вопросов, которые поднимал Ходасевич в своих рецензиях, — вопросов, скажем, эдиционных или переводческих. В России для этого существовали специальные издания, у которых был свой читатель, а в эмиграции на страницах общеполитических газет это выглядело не всегда уместно. Ходасевич-пушкинист с его дотошностью, понятной лишь профессионалу, стал объектом насмешек и пародий. Сатирический журнал “Ухват” анонсировал в 1926 г. статью Ходасевича “Анализ мочи теток Пушкина”³²¹, журнал “Сатирикон” в 1931 г. опубликовал острую пародию на пушкиноведческие работы Ходасевича: “Осенью 1830 года, в бытность свою в с.Болдино, Пушкин ежедневно кушал чай с земляничным вареньем. В настоящее время следует считать установленным, что садился он за стол не позднее 5 1/4 часов пополудни. Пишущий

эти строки <...> не раз имел случай доказывать, что Пушкин в с.Болдино приобрел привычку класть в каждый стакан чая два куса сахару. Возникшая по предмету сему полемика движется вокруг вопроса, были ли употребляем поэтом сахар колотый или пиленый. Если основываться на данных Румянцевского музея, первое предположение следует признать более основательным. Однако г.Цявловский вместе с покойным Щеголевым оспаривают сие предположение как сравнительно шаткое. Ввиду значительной важности указанного вопроса для русской литературы в ее прошлом, настоящем и будущем мы намерены предложить на терпеливое внимание многочисленных наших читателей целый ряд фельетонов-исследований, посвященных истории одного спора³²². Здесь обыграны и самый тон Ходасевича, и его скрупулезная точность в установлении мельчайших биографических деталей, и академическая привычка ссылаться на научные авторитеты. В том же 1931 г. в "Новой Газете" был опубликован шарж на Ходасевича: он изображен с циркулем, которым определяет размеры на портняжном манекене с пушкинскими чертами и табличкой "А.С.П."³²³. С этим шаржем неожиданно перекликаются воспоминания Вацлава Ледницкого об одном разговоре с Ходасевичем: "Надоела мне вся эта современная наука... Вот, знаете, в детстве, — говорил он мне, — у меня была какая-то странная и глупая привычка. Я брал сантиметр и все, что ни попало, мерил. Подойду к столу — мерю, подойду к комоду — мерю... А зачем я это делал и что мне говорили эти цифры — я не умел объяснить, когда, смеясь надо мной, меня спрашивала мать... Точно так и они теперь с Пушкиным поступают: все мерят да мерят, измеряют и измеряют, считают и подсчитывают, а какой смысл в этих измерениях и подсчетах — сам черт не разберет..."³²⁴. Они — это ученые позитивистского склада, забывающие о конечных целях изучения литературы. Сам Ходасевич, при неизменном уважении к факту, никогда не считал его самодостаточным, и все же он совершенно не вписывался в ту традицию осмысления классики, которая сформировалась в русской эмигрантской среде. Писатели и

философы эмиграции — Д.С.Мережковский, А.М.Ремизов, Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев, Вяч.Иванов, С.Л.Франк, Г.П.Федотов, П.Б.Струве, И.А.Ильин и позже В.Н.Ильин — были нацелены на крупный разговор о религиозно-нравственных проблемах у Пушкина, о его роли в духовной жизни России, о его месте в истории, и разговор этот велся, как правило, без достаточной профессиональной базы. На этом фоне пушкинистика как точная конкретная филологическая наука казалась иной раз чем-то мелочным, необязательным — отсюда и пародии на Ходасевича, о которых выше шла речь.

К слову сказать, Ходасевич тоже умел крупно мыслить, в том числе и в отношении Пушкина; это проявлялось тогда, когда сама поставленная тема выносила его на широкое культурное пространство. В статьях “Фрагменты о Лермонтове” (1914)³²⁵, “О Тютчеве” (1928)³²⁶, “Памяти Гоголя” (1934)³²⁷, где Пушкин является точкой отсчета при сопоставлении, высказаны значительные идеи об общих особенностях пушкинского художественного мира, пушкинского постижения действительности и человека. Но к большим проблемам Ходасевич подходил не как философ, а как пушкинист-профессионал, для которого всякая интерпретация должна иметь прочный фактический и текстологический фундамент, и эти свои профессиональные позиции он отстаивал перед лицом критики. В программной статье “О пушкинизме” (1932) определена подчиненная, но исключительно важная роль фактологических исследований: “Известная пристальность, пристрастие к разработке частных и деталей, даже порою мелочность, оправданы в пушкинизме не только естественным желанием узнать и выяснить жизнь Пушкина во всех подробностях, не только психологически слишком понятным увлечением исследователей, но и самим существом дела. Сама практика пушкинизма доказала неопровержимо, что сплошь и рядом малейшая деталь, едва заметная мелочь вдруг проливает свет на вопросы большой важности. Пренебрегать этими деталями в особенности не приходится теперь, когда пушкинизм находится еще в стадии накопления материалов, когда пора

общих выводов и широких обобщений еще далеко не настала. Сейчас еще драгоценно решительно все, что относится к Пушкину и его окружению, ибо конечная ценность каждого отдельного сведения еще не может быть определена”³²⁸.

При всей принципиальной правильности такой постановки вопроса нельзя не увидеть, что за этой апологией конкретной пушкинистики стоит собственная эволюция Ходасевича-пушкиниста. Если в ранний свой период он тяготел к профессионально обоснованной метафизике (“Петербургские повести Пушкина”), если в годы творческого расцвета переключился главным образом на проблемы психологии творчества (“Поэтическое хозяйство Пушкина”), то теперь его больше привлекает разработка конкретных, главным образом фактических вопросов. Такая эволюция соответствует и рисунку поэтической судьбы Ходасевича.

Но, увы, в эмиграции ему не пришлось заняться полноценными фактографическими исследованиями, как не удалось за последние пятнадцать лет жизни написать серьезного труда по пушкинской поэтике или подойти к “общим выводам и широким обобщениям” о Пушкине как духовном феномене. В наибольшей степени отвечали запросам публики и условиям работы популярные биографические очерки, которые и писал Ходасевич в эти годы в большом количестве, с присущим ему мастерством и блеском, с особым вкусом к этому жанру.

В одних очерках рассказывается о ком-либо из окружения Пушкина, восстанавливается история отношений Пушкина с этим лицом (“Арина Родионовна”, 1929³²⁹; “Пушкин и Хитрово”, 1928³³⁰; “Графиня Нессельроде и Пушкин”, 1925³³¹; “Зизи”, 1933³³²; “Аглая Давыдова и ее дочери”, 1935³³³; “Дневник Л.А.Олениной”, 1936³³⁴; “Пушкин и Николай I”, 1938³³⁵; “Жена Пушкина”, 1938³³⁶), в других разрабатывается какой-либо эпизод пушкинской биографии (“Из жизни Пушкина”, 1926³³⁷; “Девяностая годовщина”, 1927³³⁸; “Пушкин на Святогорской ярмарке” 1929³³⁹; “Черная годовщина”, 1936³⁴⁰); в третьих — прослеживаются сквозные темы, лейтмотивы пушкинской жизни, раскрывающие характерные черты

его личности ("Тайные любви Пушкина", 1925³⁴¹; "Пушкин, известный банкومت", 1928³⁴²; "Дуэльные истории", 1937³⁴³). Очерки построены либо на известных фактах, по-новому осмысленных, либо на свежих, только что опубликованных документах, либо на совершенно новых материалах, которые Ходасевич обнаружил первым. В статье "Пушкин и Николай I" он впервые опубликовал на русском языке одну из версий пушкинского разговора с императором 8 сентября 1826 г. — запись Юлия Струтыньского, которая сегодня рассматривается специалистами в ряду других источников для реконструкции этой исторической беседы. В статье "Черная годовщина" также впервые опубликована Ходасевичем та часть письма П.В.Долгорукова к И.С.Гагарину от 29 июля 1963 г., где он обсуждает со своим корреспондентом обвинения, выдвинутые против них в брошюре А.Н.Аммосова "Последние дни жизни и кончины А.С.Пушкина" (СПб., 1863). (Обвинение, напомним, состояло в том, что Долгоруков и Гагарин причастны к составлению анонимного пасквиля, послужившего одним из поводов последней пушкинской дуэли.) Но ходасевичевская публикация этого важного для пушкинистики документа прошла совершенно незамеченной, письмо было введено в научный оборот много позже, в 1966 г., когда его напечатал в русском переводе М.Яшин по копии, присланной из Парижа³⁴⁴. Ни М.Яшин, ни последующие публикаторы этого письма не ссылаются на Ходасевича³⁴⁵ — так, как будто его публикации и вовсе не было. Приведенный случай — далеко не единственный в этом роде. В большой журнальной статье "Аглая Давыдова и ее дочери" Ходасевич познакомил читателя с целым корпусом новых материалов из частных архивов о знакомых Пушкина Аглае Антоновне Давыдовой и ее дочери Адели. Эти материалы, предоставленные Ходасевичу французскими потомками Давыдовых, до сих пор в пушкинистике не задействованы — скажем, они не учтены в справочнике Л.А.Черейского "Пушкин и его окружение"³⁴⁶.

Такие факты вносят печальный штрих в профессиональную судьбу Ходасевича — волею обстоятельств

он оказался в стороне от главных путей развития пушкинистики, и вследствие этого его усилия и знания дали, менее ощутимые плоды, чем могло быть при других условиях. Как пушкинист Ходасевич в эмиграции был обречен на несостоятельность, он сам это понимал и не раз признавал публично. И все же, несмотря на эти неблагоприятные условия, долгие годы он жил с дерзостным замыслом исключительной трудности — написать биографию Пушкина.

8.

Проблема создания биографии Пушкина всегда составляла и составляет по сей день одну из важнейших задач пушкинистики. Но для Ходасевича это была к тому же и глубоко личная, жизненно важная задача, в основе которой — познание тайны единства жизненного и творческого в Пушкине, в художнике вообще, а значит и в себе самом. Работа над биографией Пушкина могла бы сфокусировать в себе и личный художественный опыт Ходасевича, и накопленные им профессиональные пушкиноведческие знания, и его литературное мастерство.

Первое упоминание об этом замысле находим в автобиографии 1920 г., где среди работ, “вполне или отчасти подготовленных”, Ходасевич называет популярную биографию Пушкина (разм^{ер} - от 4-5 печ^{атных} листов)³⁴⁷. В архиве Александра Ивича сохранилась машинопись трех глав этой биографии объемом 3/4 а.л., где жизнеописание Пушкина начато с его предков — легендарного Ратши и “арапа Петра Великого” — и доведено почти до южной ссылки поэта. Повествование ведется бегло, сухо, отстраненно, основывается на внешних событиях и обстоятельствах, практически не затрагивает внутренней жизни Пушкина и вопросов творческих. Работа остановилась в самом начале, и, может быть, это объясняется тем, что не был найден верный тон, верный принцип рассказа о жизни поэта. Осенью 1921 г. Ходасевич вернулся к

этому замыслу при поддержке М.О.Гершензона; 6 октября 1921 г. он писал жене: “Был у Герш<ензона>. Мил, но занозист. Биогр<афию> Пушкина заказал мне от имени Сабашн<икова>, который сидит, но вероятно будет освобожден”³⁴⁸. А в письме Гершензону от 22 октября 1921 г. Ходасевич сообщал: “Начинаю собирать книги, которые необходимо иметь под руками, чтобы писать биографию Пушкина. Думаю через неделю начать работу”³⁴⁹. Вскоре освободился из тюрьмы знаменитый издатель Михаил Васильевич Сабашников, и 25 января 1922 г. они подписали с Ходасевичем договор, по которому последний “принял на себя составление для издательства М. и С.Сабашниковых биографии Александра Сергеевича Пушкина размером до 10 печ.листов 40000 букв каждый” и обязался представить ее к 1 июля 1922 г.³⁵⁰.

Как видим, Ходасевич рассчитывал написать книгу за полгода, но ему не хватило на это и всей жизни. Довольно скоро стала очевидной вся сложность поставленной задачи. В феврале 1922 г. он еще беспокоился о книгах, которые “придется купить для Сабашниковской работы”³⁵¹, а уже в мае этого года фактически отказался от замысла: “Я тащу их (деньги — И.С.) с Сабашникова, хотя знаю, что никакого Пушкина не видать ему. Это меня мучит”³⁵².

Вскоре Ходасевич уехал из России, и создание биографии Пушкина отложилось на неопределенный срок, но все последующие годы он так или иначе шел к осуществлению своего замысла, — вся его пушкиноведческая работа после завершения “Поэтического хозяйства Пушкина” была накоплением материалов, исследовательского опыта, была подготовкой к этой главной книге.

С середины 1920-х гг. в европейских литературах широко распространился жанр *biographie romanesque* — романизированной биографии. В 1936 г. в “Литературной летописи” Ходасевич писал о таких биографиях: “По-видимому, они возникли в противовес тем ученым кирпичам или бездушным компиляциям, которые в огромном большинстве случаев подносились публике в качестве жизнеописаний. <...> Андре Моруа доказал своим «Шелли», что подобные вещи можно делать

талантливо и со вкусом. С этой книги и началась мода, которая некоторое время держалась на известной высоте, а потом, как водится, пришла в упадок. Однако еще прежде, чем книжный рынок успел наводниться второсортными и третьесортными подражаниями Моруа, самому ему сделались слишком явны методологические недостатки «романсированных» биографий — недостатки, не покрывавшиеся никаким умением и талантом. Биографию Дизраэли он написал уже совершенно иначе, отбросив элемент вымысла и соблюдая лишь некоторые художественные принципы, ранее не применявшиеся в трудах этого рода. Таковы же были и замечательные работы английского писателя Л.Стречи»³⁵³. Как видим, для Ходасевича разговор о законах и границах жанра сводился в первую очередь к соотношению правды и вымысла в жизнеописании. В литературной среде русского Парижа, в среде Ходасевича, сформировались два противоположных взгляда на этот вопрос. Константин Мочульский, один из наиболее глубоких исследователей литературы в русском зарубежье, утверждал, что подъем жанра «романсированной» биографии связан с кризисом воображения в литературе, что этот жанр «должен до конца преодолеть документальность и освободиться от рабского поклонения факту», что «биография упразднит роман, только сама став романом»³⁵⁴.

Ходасевич, напротив, резко отделял биографию от романа, считая, что вымысел ей противопоказан. С конца 1920-х гг., идя к биографии Пушкина, он теоретически и практически разрабатывал принципы жизнеописания исторического лица, теоретически — в статьях и рецензиях на многочисленные опыты этого жанра, практически — в книге «Державин», писавшейся в 1929-1930 гг. В предисловии к этой несомненно удачной книге Ходасевич определил границы, себе поставленные: «Биограф — не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать. Изображая жизнь Державина и его творчество (поскольку оно связано с жизнью), мы во всем, что касается событий и обстановки, остаемся в точности верны сведениям, почерпнутым и у Грота, и из многих иных источников <...> Диалог, порою

вводимый в повествование, всегда воспроизводит слова, произнесенные в действительности, и в том самом виде, как они были записаны Державиным или его современниками”³⁵⁵. Биографические книги, основанные на придуманных ситуациях и вымышленных диалогах, вызвали резкие оценки Ходасевича — таковы его отзывы на “Смерть Вазир-Мухтара”³⁵⁶ и “Кюхлю”³⁵⁷ Ю.Н.Тынянова, на книгу Л.П.Гроссмана “Достоевский за рулеткой”³⁵⁸, на ряд романов о Пушкине, появившихся в России в преддверии юбилея, — Ю.Н.Тынянова³⁵⁹, И.А.Новикова³⁶⁰, Г.И.Чулкова³⁶¹.

Но отталкиваясь от “романсированной” биографии, Ходасевич менее всего тяготел к “ученым кирпичам или бездушным компиляциям”. Его биография Державина — произведение художественное, в котором сложная писательская задача решена с величайшим артистизмом: оставаясь в рамках документального материала, Ходасевич этот материал одушевил, художественно осмыслил, на его основе создал образ, принадлежащий одновременно искусству и истории литературы, представляющий и художественное, и исследовательское открытие. В отклике на журнальную публикацию первых глав “Державина” В.Вейдле писал: “Эти две главы биографии сразу напоминают о том, чем биография должна быть и чем так редко она бывает: искусством прежде всего, искусством по замыслу и по воплощению, искусством без вымысла, но не без воображения, свободы и души...”³⁶².

Сплав искусства и документальности — это способ построения биографии. Само же ее содержание по Ходасевичу — внутренняя жизнь исторического лица. Если же говорить конкретно о биографии Пушкина, то внутренняя жизнь поэта может быть раскрыта только через творчество, которое и составляет основу его подлинной биографии. Ходасевич писал неоднократно, что ключ к судьбе Пушкина лежит на пересечении биографического и творческого в глубинах его личности, а потому жизнеописание поэта, построенное на внешних фактах, теряет смысл. Пример такой биографии для Ходасевича — книга М.Л.Гофмана о Пушкине, изданная в 1931 г. в Париже на французском языке. “Жизнь Пушкина, — пишет

Ходасевич, — прослежена М.Гофманом почти исключительно в ее внешних фактах. Перед нами биография прежде всего фактическая и почти только фактическая. Душевная жизнь Пушкина в ней замечена лишь в самых общих, бесспорных чертах <...>, совокупность которых не образует той единственной, неповторимой личности, ради которой, в сущности, только и стоит писать биографию. Жизнеописание, изложенное М.Гофманом, содержит в себе цепь событий из жизни Пушкина, но не содержит именно самого Пушкина. <...> Повествование о творчестве, т.е. о душе и смысле пушкинской жизни, как бы подменено биографией и датировкой”³⁶³.

Представление Ходасевича о том, какой должна быть биография Пушкина, лежит, таким образом, в русле анненковской традиции, с той разницей, что книга П.В.Анненкова “Материалы для биографии А.С.Пушкина” (1855) — первая биография поэта — не претендует на художественность. Анненков строил жизнеописание Пушкина как “повесть внутреннего хода его мысли”³⁶⁴, тонко сопрягая внешние факты с рукописями и опубликованными произведениями. Тот же принцип намеревался положить в основу своей книги Ходасевич. “Программа” этой книги была сформулирована его другом и единомышленником В.Вейдле в статье 1931 г. “Об искусстве биографа”: “Биография менее всего способна перенести украшение произвольным диалогом, вымышленными подробностями, гримировку под «беллетристику», под роман. Гораздо лучше для нее <...> оставаться чисто документальной. <...> Мы чувствуем, что биография художника, поэта по-настоящему будет написана только тогда, когда биограф сумеет в нее вместить не одну лишь действительность его жизни, но и порожденный этой жизнью вымысел, не только реальности существования, но и реальности воображения. Истинной биографией творческого человека будет та, что и самую его жизнь покажет как творчество, и в творчестве увидит преображенной его жизнь. Для подлинного биографа не может быть «Пушкина в жизни» и другого Пушкина — в стихах; для него есть только один Пушкин, настоящая жизнь которого

— именно та, что могла воплотиться в стихах, изойти в поэзии”. Самая трудная здесь задача, по мнению Вейдле, — “найти формулу совместного выражения жизни и творчества”³⁶⁵.

Ходасевич сделал попытку найти такую формулу: в апреле и июне 1932 г. в газете “Возрождение” появились две первых главы давно задуманной им биографии с подзаголовком “Из книги «Пушкин»”. Первая глава — “Начало жизни”³⁶⁶ — повествует о предках Пушкина по материнской линии от Абрама Ганнибала, о Надежде Осиповне и Сергее Львовиче Пушкиных, о няне и бабушке и раннем детстве поэта. Вторая глава — “Литература”³⁶⁷ — посвящена дяде Пушкина Василию Львовичу, литературному окружению юного поэта, его ранним литературным интересам и первым опытам. Эти главы написаны совсем иначе, нежели те страницы, которые сохранились в архиве А.Ивича и о которых выше мы писали. Здесь, в связи с установкой на внутреннюю биографию, найдена особая, взвешенная, сдержанно-интимная интонация, за которой стоит посвященность автора, позволяющая ему вводить читателя в постепенно открывающийся внутренний мир своего героя. Такая повествовательная интонация органично вмещает документальные фрагменты и парафразы поэтических строк, и все это вместе создает искомую стилистическую “формулу совместного выражения жизни и творчества”. Однако эта формула не всегда точно срабатывает. Приведем заключительный фрагмент главы “Начало жизни”: “С вечера он подолгу не мог заснуть. Няня по старой памяти приходила к его постели. Учила читать «Помилуй мя, Господи», но это не помогало. Тогда она заводила сказку. Русские сказки страшные. Саша над собой видел морщинистое лицо, освещенное ночником, и руку, часто творящую крестное знамение. Широкий, почти уже беззубый рот между тем нашептывал все о мертвецах, о русалочках, домовых, о змиях, с которыми бьются Полканы-богатыри и Добрыни Никитичи. Саша, едва дыша, прижимался под одеяло и не мог шелохнуться от ужаса. Воображение училось дополнять сказку. Было страшно и сладко вместе. Наконец, мысли путались, нянино

лепетанье сливалось со смутными голосами ночи, и он засыпал”.

Этот фрагмент построен на парафразах пушкинского стихотворения “Сон (Отрывок)” 1816 г.: его мотивы и образы опрокинуты в действительность, которая их породила, и таким образом творческий процесс обращен вспять, стерта граница между искусством и жизнью. Ходасевич-биограф допускает здесь ту же прямолинейность, какую допускал Ходасевич-исследователь при анализе “Русалки”: он пренебрегает в некоторых случаях тем, что художественный мир живет по своим особым законам, а не по законам действительности. В этом художественном мире, безусловно, отражается внутренний мир художника, но отражается через сложную систему превращений и преобразований, а потому генетический метод, анализирующий художественные образы с точки зрения их происхождения, порочен при обратном ходе исследовательской мысли — при попытке строить биографию по стихам. Ходасевич же не только прибегает к этому способу, но возводит его в принцип повествования, и если перевод одномерного стихотворения “Сон” в план реального детского сна еще допустим, то с более серьезными пушкинскими произведениями такой обратный ход не приносит удачи. О Пушкине-мальчике говорится в главе “Литература”: “Иногда посещал он Юсупов сад у Харитония в Огородниках. Там, наподобие садов Версальских, были пруды, гроты, искусственные руины. Во мраке деревьев стояли белые изваяния. Изображения Аполлона и Венеры потрясали его сладким страхом и восхищали до слез. Об их сладкой и страшной власти он уже знал — по книгам, по воображению, по предчувствию”. Сложный идейно-образный строй зрелого пушкинского стихотворения “В начале жизни школу помню я...” (1830) здесь упрощен до простого детского впечатления, но такое “заклание” стихов не придает достоверности биографическому рассказу.

И тем не менее первые главы ходасевичевской книги читаются интересно, они написаны мастером слова и знающим пушкинистом, что выгодно отличает эти главы от аналогичных попыток, скажем, А.В.Тыр-

ковой-Вильямс (1929) или П.Н.Милюкова (1937). Не лучшее дело — гадать о ненаписанных книгах, но все же можно предположить, что опыт Ходасевича по созданию биографии Пушкина обогатил бы и нашу художественную литературу, и пушкинистику. Однако после первых двух глав Ходасевич столкнулся с такими практическими трудностями, которые заставили его приостановить работу. 19 июля 1932 г. он писал Н.Н.Берберовой: “Здоровье мое терпимо. Настроение весело-безнадежное. Думаю, что последняя вспышка болезни и отчаяния была вызвана прощанием с Пушкиным. Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь нет у меня ничего. Значит, пора и впрямь успокоиться и постараться выуживать из жизни те маленькие удовольствия, которые она еще может дать, а на гордых замыслах поставить общий крест”³⁶⁸. В следующем письме от 23 июля он разъяснил: “«Крест» на Пушкине значит очень простое: в нынешних условиях писать его у меня нет времени. Нечего тешить себя иллюзиями. Но, с другой стороны, условия могут измениться — никто не помешает мне ими воспользоваться”³⁶⁹. Углубленный труд был невозможен в условиях, когда приходилось постоянно думать о заработке. Другой причиной остановки было, несомненно, отсутствие нужной специальной литературы. Очередная глава биографии должна была быть о Лицее, и у Ходасевича, видимо, попросту не хватило материалов, чтобы эту главу написать. Оправившись со временем от вспышки отчаяния, о которой он писал Берберовой, Ходасевич все же продолжил работу, но лицейские годы ему пришлось пропустить, и в марте 1933 г. он опубликовал в четырех номерах “Возрождения” большую главу “Молодость”³⁷⁰, охватывающую период от выхода Пушкина из Лицея до отъезда в южную ссылку в мае 1820 г.

В этой главе Ходасевич подходит к главной задаче книги — к воссозданию личности Пушкина на основе рассказов современников, эпистолярных материалов, других документов эпохи и пушкинских произведений. Он опирается на работы И.А.Кубасова, П.О.Морозова, А.Н.Веселовского, П.В.Анненкова, Б.Л.Модзалевского,

П.Е.Щеголева, на материал, собранный В.В.Вересаевым, компоует факты, известные ему по этим вторичным источникам, но не всегда от них отрывается, и эта компилятивность местами вступает в противоречие с его индивидуальным стилем. Следуя логике пушкинской жизни, неуглубленной в это время, Ходасевич говорит главным образом о внешних обстоятельствах: о кругах петербургской молодежи, в которых вращался молодой поэт, об общественных движениях, увлекавших его, о театре, салонах и дамах, о кутежах. "Молодость" густо населена персонажами, окружавшими в жизни Пушкина, их характеристики основаны, как правило, на пушкинских строках, пушкинские тексты вообще обильно используются, вживляются в повествовательную ткань. В рассказе нет вымышленных диалогов и придуманных эпизодов, но как ни старается Ходасевич оставаться в рамках документальных материалов, в главном ему приходится все же домысливать — там, где он заглядывает в пушкинское сознание. Об отъезде на Юг из Петербурга: "Он уезжал в глубоком спокойствии, похожем на то приятное чувство выздоровления, которое испытывал после первой болезни. За эти три года (без малого) им был истрочен огромный запас сил и чувств. Он как бы перегорел душой и теперь ощущал непривычное и немного странное охлаждение. Ему казалось, что молодость кончена и что даже стихов он больше писать не будет. <...> С новыми друзьями, в кругу которых было совершено столько веселых и опасных безумств, расставался он без печали. <...> Женщины? Сердце его было пусто или почти пусто"³⁷¹. Такие психологические экскурсы понятны в романе, но в документальной биографии, при сознательном отказе от вымысла, они оспоримы, и хотя Ходасевич развивает этот пассаж по мотивам пушкинской элегии "Погасло дневное светило..." (1820), он здесь обращается с материалом как романист, а не как историк.

Правильной ли была установка Ходасевича в работе над биографией? Возможно ли в этом жанре исследовать внутреннюю жизнь Пушкина? Судить об этом мы могли бы только в том случае, если бы Ходасевич написал свою главную книгу. Но дальше

“Молодости” дело не двинулось, и не будем связывать эту неудачу только с внешними факторами: с нехваткой книг или материальными проблемами. Очевидно, что написать биографию Пушкина в любом случае неизмеримо сложнее, чем биографию Державина. Если же прибавить к этому атмосферу “европейской ночи”, которой дышал Ходасевич, если вспомнить о глубоком творческом кризисе, который привел его к отказу от поэтического дара, то приходится только удивляться тому, с каким упорством он возвращался вновь и вновь к этому замыслу. Летом 1934 г., отвечая на анкету варшавского еженедельника “Меч”, Ходасевич писал: “В настоящее время, кроме текущей критической и историко-литературной работы, пишу биографию Пушкина”³⁷². 17 января 1935 г. в “Возрождении” печатается анонс под названием “«Пушкин» В.Ф.Ходасевича”: “29 января (ст.ст.) 1937 г. исполняется сто лет со дня смерти Пушкина. Между тем, несмотря на огромную литературу, посвященную поэту, на русском языке до сего времени не существует полной его биографии, написанной в соответствии с обширными новыми данными, добытыми наукой за последние три десятилетия и в частности — после революции, когда в различных хранилищах были открыты многочисленные архивные материалы. <...> Над подобной биографией уже давно работает В.Ф.Ходасевич, много лет изучающий Пушкина как поэта и человека. Работы В.Ф.Ходасевича по Пушкину и его собственное поэтическое творчество наглядно доказывают, что он не только специалист, но и автор, от которого читатели наиболее вправе ожидать проникновенного и художественного раскрытия пушкинского образа. Прекрасная биография Державина, написанная В.Ф.Ходасевичем и встретившая такой горячий прием в зарубежной прессе, при строгой научности обладает основным достоинством всякой биографии — художественностью изложения. Подобно ей, и начатый В.Ф.Ходасевичем труд о Пушкине имеет целью дать в той же художественной форме жизнеописание великого поэта, внутренне связанное с историей его творчества.

Однако тяжелые условия зарубежной жизни в настоящее время таковы, что начатая В.Ф.Ходасевичем работа может быть завершена только в том случае, если заранее будет обеспечена хотя бы некоторая часть ее издания. С этой целью уже теперь должна быть объявлена предварительная подписка на книгу, которая появится в свете в течение 1936 г. в издательстве «Петрополис» — «Дом Книги», чье имя и издательский опыт вполне обеспечивают ее с внешней стороны ...» Заметка подписана известными общественными деятелями В.Н.Коковцевым и В.А.Маклаковым, историком литературы Н.К.Кульманом, писателями И.А.Буниным и М.А.Алдановым³⁷³.

Издание книги должно было осуществляться в рамках юбилейных пушкинских торжеств при содействии Пушкинского комитета, созданного в начале 1935 г. в Париже. Подписка началась, но, кроме творческих, возникли перед Ходасевичем и какие-то препятствия официально-организационного порядка, о чем можно судить по его письму М.Л.Гофману от 10 августа 1935 г.: «... Речь может идти только о биографии П<ушкина>, а не о биографиях; за краткую не сяду, не получив официального заказа, который от меня уплывает на той ладье, на какой от Вас уплывает редактура. Куда? Не знаю, может быть, и в Лондон»³⁷⁴. По правдоподобию предположению комментатора этого письма Л.Шура, Ходасевич имел в виду, что заказ на биографию может быть передан жившей в Лондоне А.В.Тырковой-Вильямс³⁷⁵.

Так или иначе, Ходасевич не написал этой книги к 1936 г., как было обещано подписчикам, не написал он ее и позже. М.Алданов уже после смерти Ходасевича вспоминал: «Как жаль, что он так и не написал жизни Пушкина! Не раз говорили ему, что в этом его прямая обязанность и благороднейшая задача. <...> Он говорил, что внезапно остался без наиболее важных пособий, что в одном томе жизни Пушкина не изложишь, что писать такую книгу можно только в России, что для этого нужно два года. Это было верно. Но думаю, что все-таки он мог бы преодолеть случайные и внешние препятствия. Вернее, считал такую работу слишком ответственной,

требующей слишком большого напряжения душевных сил. Откладывал ее до лучших времен <...> Это потеря невознаградимая”³⁷⁶.

Вместо биографии Ходасевич подготовил для ее подписчиков в юбилейном 1937 г. новое издание “Поэтического хозяйства Пушкина”. Книга вышла в Берлине под названием “О Пушкине” тиражом 500 экземпляров. Можно было ожидать, что Ходасевич хотя бы теперь издаст свою старую книгу в полном виде, как это задумывалось, но не было осуществлено в 1924 г. Но, видимо, материальные обстоятельства повлияли на ее состав больше, чем факторы творческие. Книга “О Пушкине” невелика по объему, в нее включены четыре статьи, не вошедшие в свое время ни в ленинградский, ни в журнальный вариант “Поэтического хозяйства...”, однако более двадцати заметок Ходасевич исключил вовсе, другие значительно сократил — очевидно, на большое издание попросту не хватало денег. При этом материал в книге “О Пушкине” строже систематизирован, некоторые главы заметно переработаны и получили более стройный вид. Но ни одной новой статьи в этом издании нет.

Книга получила хорошие отклики, однако был в ее появлении оттенок горечи. В.Вейдле так начал свою рецензию: “Измененное и дополненное издание «Поэтического хозяйства Пушкина» конечно не та книга о Пушкине, которой от Ходасевича ждали — и продолжают ожидать. Такую книгу, где жизнь и творчество были бы поняты совместно, где Пушкин был бы весь (чем еще не отрицается; конечно, неисчерпаемость гения и даже всякой личности), только Ходасевич и мог бы нам дать, потому что у него одного в должной мере сочетается знание предмета с проникновением в его внутреннюю жизнь, в его смысл. Если он этой книги не напишет, неизвестно, кто и когда сумеет ее написать: знающие найдутся, но понимающих мало и сейчас; остается надеяться, что он это сделает, а книгу, выпущенную им, принять как напоминание о том, что он это сделать может”³⁷⁷.

А для Ходасевича, пожалуй, это было настоящее прощание с Пушкиным. Он написал еще много

рецензий и заметок, участвовал в работе юбилейного Пушкинского комитета в Париже, входил в редакционную комиссию по подготовке юбилейного издания Пушкина³⁷⁸, подготовил в 1937 г. хорошее издание "Евгения Онегина", написав к нему текстологическое обоснование³⁷⁹, — но "на гордых замыслах" был "поставлен крест".

Общий трагический рисунок творческой судьбы Ходасевича просматривается в истории его отношений с Пушкиным. В 1937 г. он ответил статьей на публикацию речи о.Сергия Булгакова "Жребий Пушкина". Главным пунктом полемики оказался вопрос о толковании пушкинского "Пророка" — стихотворения, с которым некогда было связано поэтическое становление Ходасевича, его творческое самосознание, его понимание поэзии как духовного подвига. О.Сергий Булгаков писал: "В зависимости от того, как мы уразумеваем «Пророка», мы понимаем и всего Пушкина. Если это есть только эстетическая выдумка, одна из тем, которых ищут литераторы, тогда нет великого Пушкина, и нам нечего ныне праздновать. Или же Пушкин описывает здесь то, что с ним самим было, т.е. данное ему видение божественного мира под покровом вещества?" По Булгакову, "здесь мы имеем некое обрезание сердца, Божие призвание к пророческому служению. Тот, кому дано было сказать эти слова о Пророке, и сам ими призван был к пророческому служению"³⁸⁰. Такое понимание совпадает с тем, что сам Ходасевич писал о "Пророке" и о Пушкине в эссе 1922 г. "Окно на Невский". Теперь же он возражает о.С.Булгакову: "В «Пророке» видели и видят изображение поэта, для чего, в сущности, нет никаких данных <...> «Пророк» — отнюдь не автопортрет и не портрет вообще поэта. О поэте у Пушкина были иные, гораздо более скромные представления <...> Пушкин сознавал себя великим поэтом, но нимало не претендовал на «важный чин» пророка. <...> Традиционное, но ошибочное отождествление поэта с пророком обычно тонет в пустых словоизвержениях на тему о высшем призвании поэта «по Пушкину» <...> Поставив знаки равенства между пророком и Пушкиным", Булгаков "предъявил к

Пушкину такие духовные требования, которые самого Пушкина ужаснули бы”³⁸¹.

За этими спокойными словами стоит личная трагедия Ходасевича. С ним произошло то, что сам он назвал когда-то “принципиальным разуверением в поэзии как подвиге” — “величайшей внутренней трагедией”, ведущей к “отказу поэта от поэзии”³⁸². Пушкин всегда олицетворял для Ходасевича подлинное поэтическое служение, и потому разуверение в высшем призвании поэта, прощание с поэзией в конце концов обернулось для него прощанием с Пушкиным.

1992 г.



ПРИМЕЧАНИЯ

1. В.Вейдле. Поэзия Ходасевича//Современные Записки. Париж, 1928. Кн.34, С.454.
2. В.Сирин. О Ходасевиче//Современные Записки. 1939. Кн.69. С.262.
3. В.Вейдле. Поэзия Ходасевича. С.455.
4. Лирический круг: Страницы поэзии и критики. М., 1922. С.82, 84. Здесь и далее ссылки на статьи Ходасевича даются, как правило, по прижизненным авторским публикациям. Из современных изданий, в которых частично представлены историко-литературные и критические работы Ходасевича, назовем наиболее доступное российскому читателю: В.Ходасевич. Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991.
5. Г.Адамович. Литературные беседы//Звено. Париж, 1925. № 130. 27 июля.
6. Г.Адамович. Владислав Ходасевич//Последние Новости. Париж, 1939. № 6660. 22 июня.
7. В.Вейдле. В.Ф.Ходасевич. О Пушкине//Современные Записки. 1937. Кн.64. С.468.
8. И.Лукаш. Настоящий литератор//Возрождение. Париж, 1939. № 4188. 16 июня.
9. Ю.Мандельштам. Живые черты Ходасевича//Возрождение. 1939. № 4189. 23 июня.
10. В.Ильин. Ходасевич — поэт и мыслитель//Возрождение. 1939. № 4190. 30 июня.
11. В.Ходасевич. Колеблемый треножник. С.114. Другой вариант этой строфы, напечатанный в издании “Библиотеки поэта” (В.Ходасевич. Стихотворения. Л., 1989. С.286), представляется неточным по сравнению с автографом (РГАЛИ, ф.537, оп.1, е.х.25, л.3 об).
12. В.Ходасевич. Стихотворения. С.129. Стихотворение завершено в 1922 г., но, вопреки автокомментарии Ходасевича (В.Ходасевич. Стихотворения. С.384), приведенная строфа появилась не в 1922 г., а 12 февраля 1917 г. — дата стоит в черновом автографе (РГАЛИ, ф.537, оп.1, е.х.22, л.5 об).
13. РГАЛИ, ф.537, оп.1, е.х.25, л.18 об. Ср. неточную публикацию: В.Ф.Ходасевич. Собрание сочинений. Ann Arbor, 1990. Т.2. С.464.
14. Подробнее об этом см.: А.Белый. Тяжелая лира и русская лирика//Современные Записки. 1923. Кн.15. С.374-377; Ю.И.Левин. Заметки о поэзии Вл.Ходасевича//Wiener Slawistischer Almanach, 1986. Band 17. S. 54-55.
15. В.Ходасевич. Стихотворения. С.131. В черновом 1919 г. наброске к этому стихотворению переключка с “Пророком” еще более очевидна, чем в окончательном тексте:

Мне вдохновения гигантский серафим
Твердит невнятные глаголы —
Но слабому певцу еще невыносим
Дар ясновиденья тяжелый.

(РГАЛИ, ф.537, оп.1, е.х.25, л.6 об)

16. В.Ходасевич. Стихотворения. С.139.
17. Там же. С.155.
18. Лирический круг: Страницы поэзии и критики. С.83-84.
19. В.Ф.Ходасевич. Некрополь: Воспоминания. Брюссель, 1939. С.118-119.
20. В.Ходасевич. "Казачи"//Возрождение. 1939. № 4166. 13 января.
21. В.Вейдле. Владислав Ходасевич//Возрождение. 1930. № 1766. 3 апреля.
22. Из письма Ходасевича Б.А.Садовскому от 15 декабря 1917 г.//Письма В.Ф.Ходасевича Б.А.Садовскому. Апп Argor, 1983. С.37.
23. В.Ходасевич. Безглавый Пушкин//Народоправство. М.,1917. № 2. С.10.
24. Там же. С.11. Так и кажется, что вожь мировой революции откликнулся в своей комсомольской речи именно на эти слова: "Учиться, учиться и учиться!"
25. Литературная газета. 1992. № 19 (5396). 6 мая.
26. Реальный комментарий к этим стихам можно найти в статье М.Горького "В Москве", опубликованной 8 ноября 1917 г.//М.Горький. "Несвоевременные мысли" и рассуждения о революции и культуре (1917-1918 гг.). М., 1990. С.77-83.
27. В.Ходасевич. Стихотворения. С.112.
28. Н.Берберова. Курсив мой. München, 1972. С.143-144.
29. Г.А<дамович> Владислав Ходасевич//Последние Новости. 1939. № 6660. 22 июня.
30. В.Ходасевич. Некрополь. С.123, 125.
31. Возрождение. 1928. № 1262. 15 ноября.
32. Философские течения в русской поэзии. СПб., 1896. С.84.
33. Там же. С.86.
34. Мир Искусства. СПб., 1899. № 13-14. С.10. Владимир Соловьев откликнулся на эти мысли статьей "Особое чествование Пушкина" (1899)//В.С.Соловьев. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С.300-310.
35. В.Ф.Ходасевич. Статьи о русской поэзии. Пб., 1922. С.119.
36. Там же. С.113.
37. См. разработку этой проблемы в статье С.Л.Франка "Пушкин и духовный путь России" (1937)//Досье: Приложение к "Литературной газете". М., 1990. Июнь. (Мир Пушкина).

38. Л.П.Гроссман. Пушкин. Достоевский. Издание Дома Литераторов// Шиповник: Сборники литературы и искусства. М., 1922. № 1. С.184.
39. М.Шагинян. Человек и Время. М., 1980. С.646.
40. В.Ф.Ходасевич. Статьи о русской поэзии. С.120, 121.
41. Там же. С.119.
42. Там же. С.115-116.
43. Из стихотворения Мандельштама “День стоял о пяти головах” (1935)//О.Э.Мандельштам. Сочинения: В 2-х томах. М., 1990. Т.1. С.215.
44. Об этом подробно рассказано в его мемуарном очерке “Как я «культурно-просвещал»”//Последние Новости. 1925. № 1578. 17 июня.
45. В.Ф.Ходасевич. Статьи о русской поэзии. С.115.
46. Там же. С.118.
47. О.Э.Мандельштам. Сочинения: В 2-х томах. Т.1. С.119.
48. Там же. С.126.
49. А.А.Ахматова. Сочинения: В 2-х томах. Изд. 2-е, исправл. и доп. М., 1990. Т.2. С.209-210. Н.Я.Мандельштам возражала против такого толкования//Н.Я.Мандельштам. Вторая книга: Воспоминания. М., 1990. С.97.
50. В.Ф.Ходасевич. Статьи о русской поэзии. С.121.
51. А.А.Блок. Собрание сочинений: В 6-ти томах. Л., 1980. Т.2. С.262.
52. В.Ильин. Ходасевич — поэт и мыслитель.//Возрождение. 1939. № 4190. 30 июня.
53. В.Ходасевич. Стихотворения. С.155.
54. И.Лукаш. Настоящий литератор//Возрождение. 1939. № 4188. 16 июня.
55. А.А.Блок. Собрание сочинений: В 6-ти томах. Т.2. С.261-262.
56. С.Парнок. Ходасевич//В.Ф.Ходасевич. Собрание сочинений. Т.2. С.477.
57. В.Ходасевич. Парижский альбом. 1.//Дни. Берлин, 1926. № 1019. 30 мая.
58. В.Ходасевич. Стихотворения. С.295.
59. Н.Берберова. Курсив мой. С.172.
60. В.А.Десницкий. Избранные статьи по русской литературе XVIII-XIX вв. М.; Л., 1958. С.254.
61. Вл.Орлов. “Сильная вещь — поэзия”//М.Цветаева. Мой Пушкин. М., 1981. С.10.

62. Н.Н.Петрунина. Пушкин в истории русской критики и литературоведения: 90-е годы — начало XIX века//Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С.89-90.
63. В.Ф.Ходасевич. Собрание сочинений. Т.2. С.223.
64. Возрождение. 1932. № 2767. 29 декабря.
65. Слова В.В.Розанова. Цит. по: Э.Голлербах. В.В.Розанов: Жизнь и творчество. М., 1991. С.20.
66. Подобного же баланса в литературоведении искал А.Белый, который шел от символистских часто произвольных толкований к точности через стиховедческий и статистический анализ.
67. В.Ходасевич. "Уединенный домик на Васильевском"//Голос Москвы. 1913. № 45. 23 февраля.
68. Н.О.Лернер. Забытая повесть Пушкина//Северные Записки. СПб., 1913. № 1. С.187. Ходасевич несправедливо оспаривал первенство Лернера в сопоставлении повестей — см. его статью "Вокруг Пушкина"//Возрождение. 1927. № 942. 31 декабря.
69. В.Ф.Ходасевич. Статьи о русской поэзии. С.58-59, 60.
70. В.Ходасевич. Некрополь. С.155.
71. Ф.Сологуб. К всероссийскому торжеству//Мир Искусства. 1899. № 13-14. С.38.
72. Вероятно, своей темой повлияла на Ходасевича и книга Мережковского "Гоголь и чорт" (1906), которую он очень высоко ценил, — см. его статьи: Памяти Гоголя (1934)//В.Ходасевич. Коллеблюмый треножник. С.239; По поводу "Ревизора"//Возрождение. 1935. № 3550. 21 февраля.
73. Н.О.Лернер. Пушкин-Титов. Уединенный домик на Васильевском//Речь. 1916. № 79. 21 марта.
74. А.А.Ахматова. О Пушкине. М., 1989. 3-е изд., исправл. и доп. С.327; Т.Г.Цявловская. "Влюбленный бес" (неосуществленный замысел Пушкина)//Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т.3. С.127; Л.С.Зингер. Судьба одного устного рассказа//Вопросы литературы. М., 1979. № 4. С.211-212 (Ходасевич в этой статье не назван, хотя с ним ведется полемика.); В.В.Виноградов. Сюжет о влюбленном бесе в творчестве Пушкина и в повести Тита Космократова (В.П.Титова) "Уединенный домик на Васильевском"//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982. Т.10. С.124-127.
75. Аполлон. Пг., 1915. № 3. С.50.
76. А.Гизетти. В.Ходасевич. Статьи о русской поэзии//Литературные Записки. Пг., 1922. № 3. С.18.
77. Вл.Ган <Б.Томашевский>. В.Ходасевич. Статьи о русской поэзии//Книга и Революция. Пг., 1922. № 6. С.55.
78. Интересно, что Ходасевич приблизился в своих выводах к тому понятию, которое было обосновано много позже и на гораздо более широком материале, — к понятию "петербургского текста" в русской

литературе, “синтетического сверхтекста, с которым связываются высшие смыслы и цели”, через который “Петербург совершает про-
рыв в сферу символического и провиденциального”, — см.: В.Н.То-
поров. Петербург и Петербургский текст русской литературы//Се-
миотика города и городской культуры. Петербург. Ученые записки
Тартусского Государственного Университета. Вып.664 (Труды по
русской и славянской филологии. Т.18). Тарту, 1984. С.13.

79. В.Ходасевич. Некрополь. С.143.
80. В.Ходасевич. Книжная Палата (из советских воспоминаний)//Возрождение. 1932. № 2725. 17 ноября.
81. См. об этом: В.Ходасевич. Некрополь. С.143-144; А.И.Ходасевич. Воспоминания о В.Ф.Ходасевиче//ОР РГБ, ф.697, карт.4, е.х.17, л.19. Опубликовано: Russica-81. N-Y, 1982. P.275-294; фрагменты — Юность. М., 1987. № 1. С.86-88.
82. В.Ходасевич. Бялик//Возрождение. 1934. № 3326. 12 июля.
83. Письмо Ходасевича Гершензону от 24 июля 1921 г.//ОР РГБ, ф.746, карт. 43, е.х.5, л.10 об.
84. Письмо Ходасевича Гершензону от 18 марта 1923 г.//Там же. Л.17.
85. Письмо Ходасевича Гершензону от 1 января 1925 г.//Там же. Л.25 об.
86. Письмо Гершензона Ходасевичу от 27 января 1923 г.//Современные Записки. 1925. Кн.24. С.229.
87. Письмо Гершензона Ходасевичу от 17 августа 1924 г.//Там же С.22.
88. Эта мысль принадлежит М.Г.Ратгаузу, которому, пользуясь случаем, приносим глубокую благодарность за помощь в работе.
89. В.Ходасевич. Стихотворения. С.138.
90. Наблюдение Омри Ронена//В.Ф.Ходасевич. Собрание сочинений. Ann Arbor, 1983. Т.1. С.332. Ср.: В.Ходасевич. Стихотворения. С.23.
91. Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. С.78.
92. В.Ходасевич. Некрополь. С.149.
93. Письмо Гершензона Ходасевичу от 17 августа 1924 г.//Современные Записки. 1925. Кн.24. С.233.
94. Г.Адамович. Литературные беседы//Звено. 1925. № 130. 27 июля. Параллель к “Хранилищу” находим в VIII письме Гершензона Иванову из “Переписки из двух углов” (Вяч.Иванов и М.О.Гершензон. Переписка из двух углов. Пб., 1921. С.31-39).
95. А.И.Ходасевич. Воспоминания о В.Ф.Ходасевиче//ОР РГБ, ф.697, карт.4, е.х. 17, л.19.
96. Беседа, Берлин. 1923. Кн.2. С.164.
97. М.О.Гершензон. Мудрость Пушкина. М., 1919. С.39.

98. Там же. С.12.
99. Там же. С.13.
100. Там же. С.38.
101. В.Ходасевич. Некрополь. С.155.
102. Возрождение. 1932. № 2746. 8 декабря. Сходные мысли — в статье “По поводу «Ревизора»”: “Есть <...> слой смыслов, порой не открытых и самому автору, но как бы самозарождающихся внутри произведения” (Возрождение. 1935. № 3550. 21 февраля).
103. В.Ходасевич. О Сирине//Возрождение. 1937. № 4065. 13 февраля.
104. Возрождение. 1937. № 4069. 13 марта.
105. В.Ходасевич. Некрополь. С.155.
106. <В.Ходасевич> М.О.Гершензон. Статьи о Пушкине//Дни. 1926. № 984. 18 апреля.
107. РГАЛИ, ф. 537, оп.1. е.х.21, л.48.
108. М.О.Гершензон. Видение поэта. М., 1919. С.18.
109. М.О.Гершензон. Мудрость Пушкина. С.75.
110. М.О.Гершензон. Статьи о Пушкине. М., 1926. С.13-14.
111. Современные Записки. 1924. Кн.20. С.227-234.
112. В.Ходасевич. Книги и люди//Возрождение. 1938. № 4157. 11 ноября.
113. Б.В.Томашевский. Пушкин: Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925. С.96, 99.
114. Там же. С.101, 108.
115. М.О.Гершензон. Мудрость Пушкина. С.155.
116. Там же. С.113.
117. Последние Новости. 1924. № 1265. 8 июня. Позже печаталась под названиями “Женитьба Пушкина” и “Прадед и правнук” (при повторных публикациях Ходасевич давал статьям новые названия).
118. Дни. 1924. № 481. 8 июня. Позже печаталась под названием “Двор — снег — колокольчик”.
119. В.Ходасевич. Сахарный Пушкин// Русские Ведомости. М., 1916. № 259. 9 ноября.
120. В названии статьи Ходасевича отражено принятое до 1922 г. название — “Гаврилиада”.
121. В.Ходасевич. “Гаврилиада”//Возрождение. 1929. № 1563. 12 сентября.
122. См. прим.102.
123. В.Ф.Ходасевич. Статьи о русской поэзии. С.105.

124. Там же. С.106. Эти мысли подхватил Ю.Айхенвальд в статье "Гавриилиада": "Поэзия в своем горниле очистила здесь и освятила все, что могло бы ранить верующее сердце. Яду неверия противоядием служит красота" (Струги: Литературный альманах. Кн.1. Берлин, 1923. С.199).
125. А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений: В 17-ти томах. [М.; Л.,] 1949. Т.12. С.229.
126. Возрождение. 1929. № 1563. 12 сентября.
127. В.Ф.Ходасевич. Статьи о русской поэзии. С.99, 100, 104, 105, 106.
128. О.Э.Мандельштам. Сочинения: В 2-х томах. Т.1. С. 122.
129. И.Бунин. Окаянные дни. М., 1990. С.32, 33.
130. И.П.<челинцев>. В.Ходасевич. Статьи о русской поэзии//Горн. М., 1922. № 2(7). С.145.
131. В.Ходасевич. Законодатель. Из советских воспоминаний//Возрождение. 1936. № 3977. 23 апреля.
132. В.Ходасевич. [О себе] //В.Ходасевич. Колеблемый треножник. С.617.
133. Памир. Душанбе, 1988. № 8. С.176.
134. ОР РГБ, ф. 697, карт.4, е.х.17, л.19.
135. ОР РГБ, ф. 746, карт.43, е.х.5, л.8.
136. Там же. Л.10 об — 11.
137. В.Ходасевич. "Диск"//Возрождение. 1939. № 4178. 7 апреля.
138. См. его статьи: Письмо//Возрождение. 1927. № 849. 29 сентября; Клевета//Возрождение. 1935. № 3753, 3760. 12 сентября, 19 сентября.
139. Об этом он писал Гершензону 6 августа 1924 г.: "Только Вашим и его мнением я дорожу".//ОР РГБ, ф.746, карт.43, е.х.5, л.21 об.
140. В.Ходасевич. Письма Пушкина//Возрождение. 1927. № 653. 17 марта.
141. В.Ходасевич. Памяти Б.Л.Модзалевского//Возрождение. 1828. № 1050. 17 апреля.
142. М.Шагинян. Человек и Время. С.243-250.
143. А.Белый. Между двух революций. М., 1990. С.224.
144. ОР РГБ, ф.697, карт.4, е.х.17, л.17. Оставим на совести мемуаристки ее простодушную уверенность, что Пушкин писал всегда, в том числе и в младенческом возрасте.
145. Акварель хранится в ГЛМ. Впервые опубликована: Литературная учеба. М., 1989. № 6. С.149.
146. Своими путями. Прага, 1926. № 10-11. С.23. Ответ на вопросы анкеты "Русские писатели о современной русской литературе и о себе".

147. Архив А.Ивича. Выражаем признательность С.И.Богатыревой, любезно предоставившей нам возможность ознакомиться с копиями некоторых материалов из архива ее отца.
148. Вопросы литературы. 1987. № 9. С.228.
149. Беседа. 1923. Кн.2. С.165. В 1923-1925 гг. недостаток специальных пушкиноведческих изданий восполнял в какой-то степени А.М.Горький, который заказывал для Ходасевича эти издания в России через Е.П.Пешкову. См.: А.М.Горький. Письма к Е.П.Пешковой. 1906-1932. (Архив А.М.Горького. Т.9). М., 1966. С.225. Благодарим за это указание И.А.Бочарову.
150. Беседа. 1923. Кн.2. С.165.
151. Свод архивных материалов по этой теме заинтересованный читатель сможет найти в нашем комментарии к трехтомному собранию пушкинистики Ходасевича, долженствующему выйти в свет в обозримое время.
152. Письмо Ходасевича Гершензону от 6 августа 1924 г.//ОР РГБ, ф.746, карт.43, е.х.5, л.21.
153. В.Ходасевич. Письмо в редакцию//Беседа. 1925. Кн.6/7. С.478-479.
154. Реконструкцию замысла "Поэтического хозяйства Пушкина" мы предлагаем в комментарии к подготовленному нами изданию пушкинистики Ходасевича.
155. В.Ходасевич. Юбилейные книги//Возрождение. 1937. № 4069. 13 марта.
156. Огонек. М., 1987. № 6. Февраль. С.11.
157. Беседа. 1923. Кн.2. С.164.
158. В поэтическом мире самого Ходасевича автореминисценции играют важную роль, их анализ см.: Ю.И.Левин. Заметки о поэзии Ходасевича. С.63-73.
159. А.Ахматова. О Пушкине: Статьи и заметки. М., 1989. Изд. 3-е, исправл. и доп. С.318.
160. Там же. С.239.
161. Огонек. 1987. № 6. С.11.
162. Л.Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Paris, 1976. Т.1. С.149.
163. Беседа. 1923. Кн.3. С.215.
164. Беседа. 1923. Кн.2. С.165.
165. Там же. С.183-184.
166. Ю.Мандельштам. Ходасевич о Пушкине//Возрождение. 1937. № 4077. 8 мая.
167. Беседа. 1923. Кн.2. С.164.
168. А.Л.Бем. Письма о литературе. Книга "О Пушкине" Вл.Ходасевича//Меч. Варшава, 1937. № 30(166). 8 августа. С.6.

169. Беседа. 1923. Кн.3. С.193.
170. В.Ходасевич. В спорах о Пушкине//Современные Записки. 1928. Кн.37. С.294.
171. В.Ходасевич. Колеблемый треножник. С.238.
172. Возрождение. 1927. № 646. 10 марта.
173. Возрождение. 1933. № 2935. 15 июня.
174. Возрождение. 1937. № 4065. 13 февраля.
175. Современные Записки. 1928. Кн.37. С.294.
176. Беседа. 1923. Кн.2. С.205-210.
177. С.Л.Франк. О задачах познания Пушкина//Белградский Пушкинский сборник. Белград, 1937. С.173.
178. А.Л.Бем. Письма о литературе. Книга "О Пушкине" Вл.Ходасевича. С.7.
179. Русский Современник. М.; Л., 1924. № 2. С.216-228; Воля России. Прага, 1924. № 1-2. С.103-114.
180. Современные Записки. 1924. Кн.19. С.405-413.
181. Воля России. 1924. № 8-9. С.85-97.
182. Последние Новости. 1924. № 1265. 8 июня.
183. Дни. 1924. № 481. 8 июня.
184. Беседа. 1925. Кн.6/7. С.273-299.
185. Беседа. 1923. Кн.2. С.176.
186. Современные Записки. 1924. Кн.20. С.233.
187. Беседа. 1925. Кн.6/7. С.273.
188. Ю.Мандельштам писал, что такая сухость "не соответствует столь живому содержанию очерка" (Ю.Мандельштам. Ходасевич о Пушкине//Возрождение. 1937. № 4077. 8 мая).
189. В.Ходасевич. Стихотворения. С.128-129.
190. С.Бочаров. "Но все ж я прочное звено..."//Новый мир. 1990. № 3. С.162.
191. Беседа. 1923. Кн.3. С.229-237.
192. Возрождение. 1928. № 1100, 1101. 6 июня, 7 июня.
193. Н.Берберова. Курсив мой. С.171.
194. Воля России. 1924. № 8-9. С.96.
195. Современные Записки. 1924. Кн.19. С.411.
196. Огонек. 1987. № 6. С.11.
197. Путь. Париж, 1933. № 40. С.21.
198. В.М.Живов. Кошунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII — начала XIX века//Ученые записки Тартусского Госу-

дарственного Университета. Вып. 546 (Труды по знаковым системам. Т.13). Тарту, 1981. С.88.

199. В.Ходасевич. Приезд Пушкина в поэзии Пушкина (глава из книги "Поэтическое хозяйство Пушкина")//Дни. 1924. № 481. 8 июня.
200. Н.Я.Эйдельман. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979. С.239-285.
201. Последние Новости. 1924. № 1265. 8 июня.
202. Т.Г.Цявловская. "Храни меня, мой талисман..."//Прометей. М., 1974. Т.10. С.59.
203. См., например: Б.В.Томашевский. Петербург в творчестве Пушкина//Пушкинский Петербург. Л., 1949. С.27; Д.П.Якубович. [Комментарий к "Скупому Рыцарю"]//А.С.Пушкин. Драматические произведения. [М.; Л.,] 1935. С.519; Н.В.Измайлов. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С.106-107; Ст.Б.Рассадин. Драматург Пушкин. М., 1977. С.79-81, 289.
204. В.Ходасевич. О Пушкине. Берлин, 1937. С.166.
205. Г.О.Винокур. Вл.Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина//Печать и революция. М., 1924. Кн.6. С.222-224.
206. Б.В.Томашевский. Пушкин: Современные проблемы историко-литературного изучения. С.100.
207. П.Е.Щеголев. Пушкин и мужики. М., 1928. С.7-57. Предварительные публикации: Новый Мир. М., 1927. № 10. С.149-169; Красная Нива. М., 1927. № 42. С.20-21. Разыскания Щеголева стали известны специалистам до этих публикаций и использовались в полемике с Ходасевичем.
208. Письмо Гершензона Ходасевичу от 23 августа 1924 г. //Современные Записки. 1925. Кн.24, С.236.
209. В.В.Вересаев. Об автобиографичности Пушкина//Печать и революция. 1925. Кн.5-6. С.29-57. Впоследствии статья вошла в книгу: В.В.Вересаев. В двух планах: Статьи о Пушкине. М., 1929. С.31-79.
210. В.В.Вересаев. В двух планах. С.140.
211. Там же. С.37.
212. Современные Записки. 1928. Кн.37. С.283.
213. Современные Записки. 1930. Кн.44. С.527-528.
214. Путь. 1933. № 40. С.21.
215. Белградский Пушкинский сборник. С.162.
216. Беседа. 1923. Кн.3. С.241-248.
217. А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений: В 17-ти томах. [М.; Л.,] 1949. Т.3. С.1215.
218. Возрождение. 1938. № 4150. 23 сентября.
219. Возрождение. 1933. № 2872. 13 апреля.

220. Возрождение. 1931. № 2228. 9 июля.
221. В.Ходасевич. Колеблемый треножник. С.240.
222. Возрождение. 1933. № 2802. 2 февраля.
223. Современные Записки. 1924. Кн.20. С.232.
224. Современные Записки. 1928. Кн.37. С.275.
225. Возрождение. 1937. № 4082. 11 июня.
226. Возрождение. 1932. № 2767. 29 декабря.
227. Современные Записки. 1928. Кн.37. С.276.
228. Последние Новости. 1927. № 2122. 13 января.
229. Возрождение. 1935. № 3858. 26 декабря.
230. П.А.Плетнев. Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т.3. С.241.
231. Возрождение. 1933. № 2802. 2 февраля.
232. Возрождение. 1932. № 2767. 29 декабря.
233. Возрождение. 1930. № 1703. 30 января.
234. Возрождение. 1937. № 4082. 11 июня.
235. Возрождение. 1937. № 4099. 1 октября.
236. Возрождение. 1938. № 4159. 25 ноября.
237. Возрождение. 1938. № 4158. 18 ноября.
238. Возрождение. 1938. № 4153. 14 октября.
239. Возрождение. 1937. № 4082. 11 июня.
240. Современные Записки. 1928. Кн.37. С.277-278.
241. Там же. С.278.
242. Возрождение. 1935. № 3613. 25 апреля.
243. А.И.Герцен. Собрание сочинений: В 30-ти томах. М., 1956. Т.7. С.76, 206.
244. Пушкин. 1837-1937. Приложение к газете "Возрождение". 1937. № 4064. 6 февраля.
245. Последние Новости. 1927. № 2122. 13 января.
246. Возрождение. 1928. № 1094. 31 мая.
247. Возрождение. 1937. № 4101. 15 октября.
248. Дни. 1925. № 804. 18 сентября.
249. Из письма Ходасевича Гершензону от 29 ноября 1922 г.: "Я здесь не равен себе, а я здесь я минус что-то, оставленное в России, притом болящее и зудящее, как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а возместить не могу ничем" (ОР РГБ, ф.746, карт.43, е.х.5, л.15 об — 16).
250. Возрождение. 1935. № 3851. 19 декабря.

251. Возрождение. 1927. № 688. 21 апреля.
252. Н.Городецкая. В гостях у Ходасевича//Возрождение. 1931. № 2060. 22 января.
253. Последние Новости. 1939. № 6653. 15 июня.
254. Возрождение. 1931. № 2158. 30 апреля.
255. Возрождение. 1937. № 4086. 9 июля.
256. Возрождение. 1938. № 4126. 8 апреля.
257. "Кто был рядом? Ходасевич, принципиально хмурившийся, напоминавший о Пушкине и о грамотности, «верно, но неинтересно», как отозвался на его настаивания Поплавский" (Г.Адамович. Комментарии. Вашингтон, 1967. С.171).
258. Д.Мережковский. Захолустье: Итоги маленькой полемики//Возрождение. 1928. № 970. 28 января.
259. См. об этом: Ю.Терапиано. Встречи. Н-Й., 1953. С.111.
260. В.Ходасевич. Литературные статьи и воспоминания. Н-Й., 1954. С.10.
261. В.Ходасевич. Стихотворения. С.156.
262. Г.Федотов. О парижской поэзии//Вопросы литературы. 1990. № 2. С.237.
263. Возрождение. 1927. № 678. 11 апреля.
264. См., например, статью Г.П.Федотова "Круг"//Круг. Кн.3. Париж, 1938. С.162-164.
265. Возрождение. 1938. № 4158. 18 ноября.
266. Возрождение. 1937. № 4105. 12 ноября.
267. С.Бочаров. "И все ж я прочное звено..."//Новый мир. 1990. № 3. С.167.
268. Ю.Мандельштам писал: "Ходасевич задыхался в нашем времени..." (Ю.Мандельштам. Памяти Ходасевича//Возрождение. 1939. № 4188. 16 июня).
269. Возрождение. 1938. № 4158. 18 ноября.
270. В.Ходасевич. Стихотворения. С.186.
271. Новый Дом. 1926. № 2. С.33-39.
272. Возрождение. 1932. № 2515. 21 апреля.
273. В.Ходасевич. Стихотворения. С.191-192.
274. См. об этом: Ю.И.Левин. Заметки о поэзии Ходасевича. С.54-55.
275. В.Ходасевич. Стихотворения. С.153.
276. Там же. С.177.
277. Новый Дом. 1926. № 2. С.35.
278. В.Ходасевич. Стихотворения. С.301.

279. А.Белый. Рембрандтова правда в поэзии наших дней (о стихах В.Ходасевича)//Записки мечтателей. Пб., 1922. № 5. С.136-139.
280. См. об этом: Ю.Терапиано. Встречи. С.86.
281. Г.Адамович. Литературные беседы//Звено. 1925. № 130. 27 июля.
282. Д.Аминадо. Поезд на третьем пути. Н-Й., 1954. С.149.
283. В.Ходасевич. Литература в изгнании//Возрождение. 1933. № 2893. 4 мая.
284. РГАЛИ, ф.537, оп.1. е.к.49, л.35 об.
285. Минувшее: Исторический альманах. 5. М., 1991. С.290.
286. Дни. 1925. № 806. 20 сентября.
287. Возрождение. 1928. № 983. 10 февраля.
288. Возрождение. 1928. № 1100, 1101. 6 июня, 7 июня.
289. Возрождение. 1933. № 2991, 2993. 10 августа, 12 августа.
290. Современные Записки. 1935. Кн.58. С.227-257.
291. Пушкин. 1837-1937. Приложение к газете "Возрождение". 1937. № 4064. 6 февраля.
292. Возрождение. 1938. № 4161. 9 декабря.
293. "Фельетоном" назывался отдел газеты, где помещались статьи о литературе и искусстве, художественные произведения, мемуары.
294. С 1927 г. до конца жизни Ходасевич был литературным сотрудником газеты "Возрождение".
295. Новый Журнал. Н-Й., 1944. № 7. С.295.
296. См., например, его письмо Н.Н.Берберовой от 21 февраля 1930 г.//Минувшее. 5. С.262.
297. Возрождение. 1929. № 1465.-6 июня.
298. Возрождение. 1933. № 3117. 14 декабря.
299. Возрождение. 1934. № 3298. 14 июня.
300. Возрождение. 1935. № 3683. 4 июля.
301. Возрождение. 1927. № 835. 15 сентября.
302. Там же.
303. Там же.
304. Там же.
305. Г.Струве. Из моего архива//Мосты. Мюнхен, 1970. Кн.15. С.397.
306. А.Бем. О Пушкине. Ужгород, 1937.
307. Возрождение. 1937. № 4069. 13 марта.
308. Современные Записки. 1928. Кн.37. С.275-294.
309. Возрождение. 1931. № 2228. 9 июля.

310. Возрождение. 1934. № 3452. 15 ноября.
311. Возрождение. 1934. № 3480. 13 декабря.
312. Возрождение. 1935. № 3613. 25 апреля.
313. Возрождение. 1936. № 3956. 2 апреля.
314. Возрождение. 1928. № 1050. 17 апреля.
315. Возрождение. 1931. № 2067. 29 января.
316. Возрождение. 1934. № 3424. 18 октября.
317. Возрождение. 1937. № 4076. 1 мая.
318. В.Ходасевич. Некрополь. С.141-157.
319. М.Бенедиктов. "Современные Записки", кн.37//Последние Новости. 1926. № 1849. 15 апреля.
320. См.: М.Л.Гофман. Пушкин. Психология творчества. Париж, 1928. С.89-90; В.Ходасевич. В спорах о Пушкине//Современные Записки. 1928. Кн.37. С.275-294; М.Л.Гофман. Споры о Пушкине//Последние Новости. 1929. № 2843. 3 января; В.Ходасевич. Конец одной полемики//Возрождение. 1929. № 1318. 10 января; Третейский суд по делу М.Л.Гофмана с В.Ф.Ходасевичем//Последние Новости. 1929. № 2948. 18 апреля; В.Ходасевич. Письмо в редакцию//Последние Новости. 1929. № 2967. 7 мая. В 1936 г. Ходасевич и Гофман вновь обменялись полемическими статьями.
321. Ухват. Париж, 1926. № 1. С.9.
322. Сатирикон. Париж, 1931. № 7. С.6.
323. Новая Газета. Париж, 1931. № 2. 15 марта.
324. В.Ледницкий. Литературные заметки и воспоминания//Опыты. Н-Й., 1953. Вып.2. С.169.
325. В.Ф.Ходасевич. Собрание сочинений. Т.2. С.190-200.
326. Возрождение. 1928. № 1283. 6 декабря.
327. В.Ходасевич. Колеблемый треножник. С.237-240.
328. Возрождение. 1932. № 2767. 29 декабря.
329. Возрождение. 1929. № 1315. 7 января.
330. Возрождение. 1928. № 983. 10 февраля.
331. Дни. 1925. № 888. 25 декабря.
332. Возрождение. 1933. № 2991, 2993. 10 августа, 12 августа.
333. Современные Записки. 1935. Кн. 58. С.227-257.
334. Возрождение. 1936. № 4056. 12 декабря.
335. Возрождение. 1938. № 4118, 4119. 11 февраля, 18 февраля.
336. Возрождение. 1938. № 4161. 9 декабря.
337. День Русской Культуры. Париж, 1926. 8 июня.

338. Возрождение. 1927. № 618. 10 февраля.
339. Возрождение. 1929. № 1479. 20 июня.
340. Возрождение. 1936. № 4052. 14 ноября.
341. Дни. 1925. № 806. 20 сентября.
342. Возрождение. 1928. № 1100, 1101. 6 июня, 7 июня.
343. Пушкин. 1837-1937. Приложение к газете "Возрождение". 1937. № 4064. 6 февраля.
344. М.Яшин. К портрету духовного лица//Нева, Л., 1966. № 3. С.186.
345. Л.Шур. Переписка И.С.Гагарина с П.В.Долгоруковым (1860-1863)//Символ. Париж, 1985, № 13. Июнь. С.210-253; О.А.Новые публикации из архива И.С.Гагарина//Вопросы литературы. 1987. № 7. С.274-280.
346. Л.А.Черейский. Пушкин и его окружение. Л., 1989. С.128-129.
347. Вопросы литературы. 1987. № 9. С.228-229.
348. РГАЛИ, ф. 537, оп.1, е.х.48, л.4.
349. ОР РГБ, ф. 746, карт.43, е.х.5, л.12.
350. ОР РГБ, ф. 261, карт.9, е.х.16, л.3.
351. Письмо А.И.Ходасевич от 8 февраля 1922 г.//РГАЛИ, ф.537, оп.1, е.х. 49, л.15.
352. Письмо А.И.Ходасевич от 18 мая 1922 г.//Там же, л.21.
353. Гулливер [В.Ходасевич]. "Пушкин в Михайловском"//Возрождение. 1936. № 3963. 9 апреля.
354. К.Мочульский. Кризис воображения (роман и биография)//Звено. 1927. № 2. С.80.
355. В.Ходасевич. Державин. М., 1988. С.38. То же говорил Ходасевич о своем "Державине" в статье "Об исторической правде"//Возрождение. 1930. № 1696. 23 января.
356. Возрождение. 1930. № 1857. 3 июля.
357. Возрождение. 1931. № 2172. 14 мая.
358. Возрождение. 1933. № 2802. 2 февраля.
359. Возрождение. 1935. № 3690, 3837. 11 июля, 5 декабря.
360. Возрождение. 1936. № 3963. 9 апреля.
361. Возрождение. 1936. № 4040. 22 августа.
362. Возрождение. 1929. № 1493. 4 июля.
363. В.Ходасевич. Книга М.Гофмана//Возрождение. 1931. № 2228. 9 июля.
364. П.В.Анненков. Материалы для биографии А.С.Пушкина. СПб., 1855. С.46.
365. Современные Записки. 1931. Кн.45. С.492, 494.

366. Возрождение. 1932. № 2524. 30 апреля. Половина этой главы была Ходасевичем перепечатана впоследствии под названием "Черные предки"//Сегодня. Рига, 1937. № 26. 26 января.
367. Возрождение. 1932. № 2564. 9 июня. Позже перепечатано под названием "Дядюшка-литератор"//Сегодня. 1937. № 32. 1 февраля.
368. Минувшее. 5. С.285.
369. Там же. С.286.
370. Возрождение. 1933. № 2837, 2840, 2844, 2847. 9, 12, 16, 19 марта.
371. Возрождение. 1933. № 2847. 19 марта.
372. Меч. Варшава, 1934. № 9-10. 8 июля. С.29.
373. Возрождение. 1935. № 3515. 17 января.
374. Russian Literature and History: In Honor of Professor I.Serman Jerusalem, 1989. С.161.
375. Там же. С.162.
376. М.Алданов. В.Ф.Ходасевич//Русские Записки. Париж, 1939. № 19. С.182-183.
377. Современные Записки. 1937. Кн.64. С.467-468.
378. См. подробно о комитете и об этом издании: С.Лифарь. Моя зарубежная пушкиниана. Париж, 1966. С.32-67.
379. А.С.Пушкин. Евгений Онегин. Роман в стихах./Иллюстрации М.В.Добужинского. Редакция текста В.Ф.Ходасевича. Bruxelles-Paris, 1937.
380. Прот.С.Булгаков. Жребий Пушкина//Новый Град. Париж, 1937. № 12. С.36, 38.
381. В.Ходасевич. "Жребий Пушкина". Статья о. С.Н.Булгакова//Возрождение. 1937. № 4094. 3 сентября.
382. В.Ходасевич. Бесславная слава//В.Ф.Ходасевич. Собрание сочинений. Т.2. С.286.

Заказ 144 Тираж 2000 Формат 60x84/16

.....
Отпечатано в Обнинской
городской типографии
249020, Обнинск, Комарова, 6.

